



СТЕФАН

ЦВЕИГ

*СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Стефан Цвейг

**Смятение чувств**

«Издательство АСТ»

УДК 821.112.2-31(436)  
ББК 84(4Авс)-44

**Цвейг С.**

Смятение чувств / С. Цвейг — «Издательство АСТ»,  
— (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-144979-7

В этот сборник вошли очень разные по стилю и содержанию произведения, в том числе «Смятение чувств», «Закат одного сердца», «Незримая коллекция» и «Легенда о третьем голубе». Это и классические новеллы, и изысканные легенды, и почти публицистические рассказы, полные эмоционального накала и силы убеждения. В них любовь в самых разных ее проявлениях, ложь и одиночество, вера и неверие, взросление и старение, и страшный военный Молох, в ненасытную пасть которого падают все новые и новые жизни... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.112.2-31(436)  
ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-17-144979-7

© Цвейг С.  
© Издательство АСТ

## Содержание

Гувернантка	6
Женщина на фоне пейзажа	16
Смятение чувств	29
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# Стефан Цвейг

## Смятение чувств (сборник)

Перевод осуществлен при поддержке Федерального министерства искусства, культуры, государственной службы и спорта Австрийской республики.

Die Übersetzung dieses Buches wurde vom österreichischen Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport gefördert.

© Перевод. М. Рудницкий, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

\* \* \*

Стефан Цвейг (1881–1942) – австрийский классик первой половины XX века, непревзойденный мастер психологического реализма, один из главных представителей художественного направления «венский модерн». Из-под его пера выходили и пронзительные романы, и глубокие новеллы, и блестящие критические эссе. Но одним из главных жанров в его творчестве всегда оставалась романтизированная биография, где Цвейг проявил себя как вдумчивый историк, прекрасный рассказчик и тонкий психолог.

## Гувернантка

И вот наконец они в детской одни. Свет погашен. Между ними темнота, только две постели смутно белеют во мгле. Даже дыхания не слышно, можно подумать, они уже спят.

– Эй! – раздается робкий оклик. Это младшая, девчушка лет двенадцати, тихо, почти боязливо, шепчет сквозь черную пелену.

– Ну, что тебе? – отвечает с другой кровати сестра. Она лишь на год старше.

– Не спишь еще? Вот и хорошо... Хотела рассказать тебе кое-что.

Напротив, от другой стенки, ни слова. Только шорох. Старшая уже сидит в постели и выжидательно смотрит на сестру: даже видно, как глаза поблескивают.

– Знаешь... я что тебе хотела сказать... Только сперва сама скажи: ты в последние дни ничего необычного за нашей барышней не замечала?

Старшая медлит, припоминает.

– Ну да, – задумчиво тянет она. – Хоть толком не пойму, что с ней такое. Но она не такая строгая, как раньше. Я тут два дня подряд домашнее задание не приготовила, так она даже слова не сказала. И потом она вообще такая... сама не знаю, какая. По-моему, ей совсем не до нас, сидит себе в сторонке и даже не играет с нами, не то что прежде.

– По-моему, она страшно чем-то огорчена, только скрывает это, показывать не хочет. И к пианино больше не подходит, вообще играть перестала.

Снова повисает молчание.

Но тут старшая напоминает:

– Ты же рассказать что-то хотела.

– Ну да, только об этом никому, слышишь, совсем никому, ни маме, ни подружкам...

– Да конечно нет! – Ее разбирает нетерпение. – Ну, так о чем ты?!

– В общем, так... сегодня, когда мы уже спать уходили, я вдруг вспомнила, что не сказала нашей барышне «Спокойной ночи». А туфли уже сняла, но все равно пошла к ней, без туфель, на цыпочках, ну, чтобы вроде как сюрприз. И дверь тоже совсем тихонько так открываю. Сперва решила, что ее вообще в комнате нет. Хотя свет горит, но самой ее не видно. И вдруг слышу – ну и перепугалась же я! – кто-то плачет, и только тут увидела, что это барышня наша на кровати, вся одетая, лежит и головой в подушки зарылась. И горько так плачет, так всхлипывает, что я вздрогнула даже. Но она меня не заметила. А я сразу дверь потихоньку прикрыла. И даже еще постояла там, до того меня трясло всю с перепуга. И вдруг снова, даже через дверь, эти всхлипы услышала, и только тогда убежала поскорей.

Обе помолчали. Потом, совсем тихо, одна из девочек говорит:

– Бедная барышня!

Слова, оброненные в темноту, какое-то время, казалось, еще колышутся в ней приглушенным блуждающим эхом, потом все снова стихает.

– Хотела бы я знать, отчего она плакала, – гадают младшая. – В последнее время никто вроде бы к ней не цеплялся, даже мама придирааться перестала, а мы-то уж точно ничем ее не обидели. Отчего же она так плачет?

– Я, пожалуй, знаю, отчего, – со значением тянет старшая.

– Так скажи, скажи, отчего?

Сестра медлит. Потом, наконец, произносит:

– По-моему, она влюблена.

– Влюблена? – Младшая только плечиками передергивает. – Влюблена? Но в кого?

– А ты сама не замечаешь?

– Но не в Отто же?

– Нет? А он в нее? С какой тогда стати студент наш, хоть уже три года у нас живет, прежде никогда нас на прогулки не сопровождал, а в последние месяцы, что ни день, за нами увязывается. Вспомни, оказывал ли он нам знаки внимания хоть разок, прежде чем барышня у нас появилась? А теперь чуть не весь день возле нас крутится. Он же то и дело случайно с нами встречается, и всегда, видите ли, ненароком, то в Городском парке, то в Народном саду, то в Пратере, всюду, куда бы мы с барышней ни направились. Неужели не замечала?

Обомлев и даже запинаясь от испуга, младшая лепечет:

– Ну да... конечно замечала. Только я думала, это из-за...

Голос ее пресекается. Она замолкает.

– Мне тоже сперва так казалось, мы девчонки такие дурочки. И только потом до меня дошло: мы ему только как ширма нужны.

Теперь молчат обе. Кажется, разговор окончен.

Обе погружены в свои мысли, в может, в грезы или уже в сны.

Но тут вдруг из темноты снова раздается голосок младшей – растерянный, совсем беспомощный:

– Но отчего тогда она плачет? Ведь она же ему нравится. А я-то всегда думала, это так прекрасно, когда ты влюблен.

– Не знаю, – с отрешенной мечтательностью роняет в темноту старшая, – я тоже считала, что это, наверно, самое прекрасное чувство на свете.

В ответ, совсем тихо, с жалостью, уже с полусонных губ, слетает:

– Бедная барышня!

И лишь теперь в комнате воцаряется сонная тишина.

\* \* \*

На следующее утро о вчерашнем разговоре больше ни слова, но каждая чувствует – мысли у обеих только об одном. Встречаясь на ходу, обе прячут глаза, но, когда исподтишка посматривают на барышню, взгляды их невольно пересекаются. За столом наблюдают за Отто, кузенком, как за чужаком, хотя тот уже который год у них живет. Они и не разговаривают с ним, но тайком, искоса следят за каждым движением – не подает ли он безмолвные сигналы их барышне. Обе напряжены, обеих снедает беспокойство. И не до игр им сегодня, не зная, куда себя деть, они занимаются чем придется, всякой бесполезной ерундой, до того мучит их неразгаданная тайна. Лишь к вечеру, холодно, с деланным безразличием, одна спрашивает другую:

– Заметила что-нибудь?

– Да нет, – откликается сестра, отворачиваясь.

Продолжать разговор обеим почему-то боязно. Так и проходят несколько дней – в безмолвном наблюдении, в томительном ожидании неведомо чего, в нарастающей неосознанной тревоге от все более явственного приближения к тайне, к ее смутно брезжащей разгадке.

Наконец, еще через пару дней, за обедом, одна из девочек замечает: барышня глазами подает Отто едва заметный знак. Тот в ответ слегка кивает. Дрожа от волнения, младшая под скатертью хватается сестру за руку. Та поворачивается – и встречает сияющие глаза сестренки. Ей сразу все становится ясно, а значит, лихорадочное беспокойство перекидывается и на нее тоже.

Как только все встают из-за стола, гувернантка как бы между прочим бросает девочкам:

– Побудьте у себя в комнате, займитесь чем-нибудь. У меня что-то голова разболелась, я на полчаса прилягу.

Девочки послушно опускают глаза. Но тайком слегка соприкасаются руками, подавая друг другу сигнал. И едва барышня выходит из столовой, младшая подскакивает к старшей:

– Вот увидишь, сейчас Отто к ней пойдет.

– Да уж конечно. Иначе чего ради она нас выставила.

– Надо у двери подслушать!

– А если придет кто-нибудь?

– Да кто?

– Мама.

Младшая пугается.

– Ну, если мама...

– Знаешь что? Я встану у двери, а ты здесь, в коридоре, побудь, и если услышишь кого, подашь мне знак. Так нас никто не застукает.

Младшая хмурится:

– Ага, а ты мне потом ничего не расскажешь!

– Я тебе все расскажу.

– Честно?.. Все-все?

– Слово даю. А ты стой там и кашлянешь, если кого услышишь.

Притаившись в коридоре, дрожа от волнения, девочки ждут. Сердце колотится от страха. Что сейчас будет? Они прижимаются друг к другу, теснее, еще тесней.

Но вот чьи-то шаги. Обе кидаются наутек, во тьму. И вовремя: это и вправду Отто. Едва слышно берется за ручку, тихо прикрывает за собой дверь. Старшая тотчас шмыгает туда и, прильнув к створке, старается не дышать. Младшая с завистью смотрит ей вслед. Потом, сгорая от любопытства, покидает свой пост, решив подкрасться поближе. Но сестра гневным жестом гонит ее обратно. Проходят две, три томительные минуты, младшей они кажутся вечностью. Словно на раскаленных углях, она даже ножками перебирает от нетерпения. Вся дрожа, она чуть не плачет от возмущения и гнева: сестрице слышно все, а ей ничего! Но тут, еще не рядом, а через комнату, хлопает дверь. Сестренка кашляет. Обе стремглав мчатся к себе в детскую. И, даже оказавшись там, еще какое-то время стоят затаившись, под бешеный стук собственных сердец.

Но уже вскоре младшая тербит сестрицу:

– Ну же, давай, рассказывай!

Та недоуменно хмурится. Потом задумчиво, словно говоря сама с собой, произносит:

– Не понимаю.

– Чего?

– Все так странно.

– Да что? Что? – задыхаясь от нетерпения, выпытывает сестренка.

Пока старшая мало-помалу приходит в себя, младшая прижимается к ней все крепче, лишь бы ни словечка не упустить.

– Это все так странно... совсем не так, как я себе представляла. По-моему, он, когда в комнату вошел, сразу обнять ее хотел, ну, или поцеловать, но она не позволила: «Оставь это, нам надо поговорить серьезно». Видеть-то я ничего не видела, в скважине с той стороны ключ торчал, но слышала все, каждое слово. «А что случилось?» – это Отто ее спрашивает, только я вот никогда не слышала, чтобы он так говорил. Ну, ты же знаешь, он обычно громко так разговаривает, уверенно, почти нахально, а тут вдруг робко, едва слышно, я сразу почувствовала, он чего-то боится. И она, по-моему, тоже сразу заметила, что он увиливает, потому что только и сказала, тихо-тихо: «Да ты сам знаешь». – «Нет, ничего я не знаю». – «Вот как? – это она ему, но с такой горечью, ужас просто. – Тогда отчего вдруг ты стал меня сторониться? Вот уже неделю словечка мне не скажешь, избегаешь меня при малейшей возможности, с девочками гулять больше не выходишь, в парке тоже не показываешься. Словно я тебе совсем чужая! О, ты прекрасно знаешь, в чем причина». Он на это помолчал, а потом говорит: «У меня экзамены скоро, мне заниматься надо, ни на что другое времени нет. Я просто не могу иначе». И тут она заплакала, а потом ему говорит, сквозь слезы, но нежно так, с любовью: «Отто, ну зачем ты



меня обманываешь? Скажи мне все начистоту, я правда не заслужила от тебя лжи. Я же ничего не требовала, но объясниться откровенно все-таки нужно. Ты ведь знаешь, что я должна тебе сказать, я по глазам вижу, что знаешь». – «Да что, что?» – это он в ответ пробормотал, но совсем тихо, неслышно почти. И тут она ему сказала...

От волнения голос у нее пресекается, ее вдруг охватывает дрожь, она не в силах продолжить. Младшая прижимается к ней еще сильнее.

– Что? Что? Что она сказала?

– Она сказала: «Ведь у меня ребенок от тебя».

Будто громом пораженная, сестренка отпрядывает.

– Ребенок? Ребенок! Быть не может!

– Но она так сказала.

– Тебе послышалось.

– Да нет же, нет! И он за ней повторил: точь-в-точь как ты, закричал прямо: «Ребенок!»

Она долго молчала, а потом говорит: «Что теперь будет?» А дальше...

– Что дальше?

– А дальше ты кашлянула, ну я и убежала.

Младшая все еще растерянно смотрит прямо перед собой.

– Ребенок? Быть такого не может. Где он у нее, ребенок этот?

– Не знаю. Этого я как раз и понять не могу.

– Может, дома, где... ну, до того, как она к нам переехала. А сюда с собой его взять мама ей, конечно, не разрешила, из-за нас. Поэтому она и горюет.

– Да брось, она тогда нашего Отто и не знала вообще.

Обе умолкают, погрузившись в недоуменное раздумье. Мучительная загадка не дает им покоя. И снова не выдерживает младшая:

– Ребенок? Да нет, невозможно. Откуда у нее ребенку взяться? Она ведь не замужем, а дети только у тех, кто замужем, ну, или женат, это я точно знаю.

– Может, она была замужем?

– Ты совсем дурочка, что ли? Не за Отто же!

– Но как тогда?..

Ничего не понимая, они смотрят друг на дружку.

– Бедная барышня, – с жалостью говорит одна из них. Эти слова, сопровождаемые вздохом сострадания, будут звучать в их разговорах все чаще. Но снова и снова к состраданию примешивается любопытство.

– Интересно, это мальчик или девочка?

– Откуда же знать...

– А что, если ее как-нибудь спросить... Поделикатнее, как бы между прочим, совсем-совсем невзначай...

– Ты спятила!

– Ну почему?.. Она же такая добрая с нами.

– Придумаешь тоже! Разве нам про такие вещи говорят? От нас же все утаивают. Стоит в комнату войти, все тут же умолкают, а с нами только о всяких глупостях сюсюкают, будто мы дети малые, хотя мне уже тринадцать. Какой смысл спрашивать, если тебе все время только врут?

– Но мне так хочется узнать!

– Думаешь, мне нет?

– Знаешь, чего я совсем не понимаю – как этот Отто вроде бы совсем ничего не знал?

Как можно не знать, что у тебя ребенок? Это все равно что про родителей не знать.

– Да он просто прикидывался, этот прохвост. Он вечно прикидывается.

– Но не в таких же вещах. Это он только с нами, когда дурака валяет, разыгрывает нас, шутики всякие подстраивает...

Тут в комнату входит барышня. Девочки тотчас умолкают и делают вид, будто прилежно занимаются. А сами то и дело исподтишка на нее поглядывают. Похоже, веки у барышни покраснели, да и голос как будто слегка осипший и чуть подрагивает. И лишь иногда воспитанницы с какой-то благоговейной робостью осмеливаются впрямую поднять глаза на свою гувернантку. «У нее ребенок, – снова и снова напоминают они себе, – из-за этого она такая печальная». И сами не замечают, как постепенно эта печаль передается и им тоже.

\* \* \*

На следующий день за столом их ожидает внезапное известие. Отто решил от них съехать. Заявил дяде, что у него экзамены на носу, надо усердно заниматься, а тут ему слишком мешают. Поэтому он снимет себе комнату где-нибудь на месяц-другой, пока все не утрясется.

Обеих сестер эта новость повергает в тихое смятение. Тотчас уловив связь между этим событием и вчерашним разговором, они обостренным детским чутьем смутно ощущают в отъезде кузена подлость, трусливое бегство. Когда Отто подходит к ним попрощаться, они, не сговариваясь, поворачиваются к нему спиной. Однако краем глаза обе следят, как он подходит к барышне. У той чуть подрагивают губы, но она спокойно, ни слова не проронив, подает ему руку.

За считанные дни девочек будто подменили. Им не до игр больше, и звонкого смеха их нигде не слышно, глаза потускнели, куда подевался их живой, радостный блеск. Беспокойство, смутная тревога поселились в детских душах, а еще диковатое, как у зверенышей, недоверие ко всем окружающим. Что ни скажут им взрослые – за каждым словом девочкам чудится обман и коварный подвох. Дни напролет они только подсматривают и выслеживают, стараясь не упустить ни жеста, ни интонации, ни движения бровей или губ. Вездесущими беззвучными тенями шмыгают они по дому, подслушивают у дверей в жадном стремлении вызнать хоть что-то, им страстно хочется сбросить со своих неокрепших плеч тяжкий, темный невод непонятных взрослых тайн или хоть крохотную ячейку в этой сети обнаружить, чтобы сквозь нее снова узреть знакомую явь привычной жизни. Детская доверчивость, эта блаженная, безмятежная слепота, навсегда спала с них. А кроме того: в предгрозовой духоте нагнетающихся событий они предчувствуют грядущую развязку и боятся ее упустить. С тех пор как они ощутили вокруг себя путы лжи, они постоянно настороже и сами стали хитры, бдительны и лживы. Подле родителей они ведут себя пай-девочками, мгновенно прячась в личину наивной детскости, но при первой же возможности тем неудержимей вырываясь из этой личины в лихорадочную порывистость неумного любопытства. Все существо их пронизано нервическим беспокойством, их глаза, источавшие прежде тихое умиротворенное сияние, стали теперь как будто глубже и таят в себе искристые отсветы незримого пламени. Но чем беспомощнее их подглядывание и шпионство, тем сильнее тянет их друг к другу сила и тепло взаимной сестринской любви. Вот почему, когда им особенно тоскливо и так хочется понимания и нежности, гнет нестерпимого неведения иной раз бросает их друг дружке в объятия – или вынуждает расплакаться ни с того ни с сего. Без всякой, казалось бы, видимой причины в их жизнь вторглось тревожное предчувствие беды.

Среди многих обид, которые они лишь теперь научились замечать, одна особенно мучительна. Даже не сговариваясь, молчком, они решили, что теперь, когда барышня так печальна, будут делать все, чтобы как можно больше ее радовать. Все задания они теперь выполняют тщательно, помогая друг дружке и не ропща на трудности, ведут себя тише воды ниже травы, стараясь угадать и предупредить любое желание своей воспитательницы. Но барышня их стараний даже не замечает, и вот это ранит их до глубины души. Она в последнее время совсем другая

стала, сама не своя, как в воду опущенная. Иногда скажешь ей что-нибудь, а она даже вздрагивает, будто очнувшись, будто ее разбудили. И взгляд такой, словно она откуда-то, совсем издалека вернулась. Иной раз часами молча сидит, ничего вокруг не замечая. Девочки тогда ходят вокруг на цыпочках, лишь бы ее не беспокоить, со смутной тревогой догадываясь: это она, должно быть, о ребенке своем думает, который, бедняжка, где-то далеко. И тем сильнее, всеми фибрами пробуждающейся женственности, они любят свою барышню, которая теперь стала с ними такая добрая и совсем не строгая. И даже походка, прежде такая горделивая и энергичная, теперь у барышни более плавная, какая-то почти бережная, да и все движения как будто осторожнее сделались, – во всех этих переменах девочки ощущают все ту же потаенную, глубоко скрытую кручину. Ни разу не видели они, чтобы барышня плакала, но веки у нее часто покрасневшие. Они понимают, барышня скрывает от них свою боль, и они в отчаянии оттого, что не в силах ей помочь.

И вот однажды, когда барышня, отвернувшись к окну, как бы невзначай подносит платок к глазам, младшая, в порыве внезапной решимости, осторожно берет ее за руку и тихо говорит:

– Мадемуазель, вы такая грустная в последнее время. Но правда ведь, это не по нашей вине?

Барышня смотрит на нее растроганно и мягко гладит по волосам.

– Нет, детка, нет, – говорит она. – Уж точно не по вашей.

И нежно целует ее в лоб.

\* \* \*

Так они и живут все эти дни, постоянно начеку, ничего не упуская из вида, покуда как-то раз одна из девочек, внезапно войдя в комнату, не успевает кое-что услышать. Всего лишь пару слов, клочок разговора между родителями, тут же оборванного при ее появлении, однако каждое даже вскользь брошенное словцо теперь разжигает в сестрах тысячу подозрений. «Мне тоже это бросилось в глаза, – проронила мать. – Что ж, я поговорю с ней начистоту». Девочка сперва приняла сказанное на свой счет и тут же поспешила к сестре за помощью и советом. Однако за обедом обе замечают, как родители, то и дело пристально посматривая на отрешенное лицо их гувернантки, в конце обеда многозначительно переглядываются.

Когда все встают из-за стола, мать как бы между прочим говорит барышне:

– Зайдите, пожалуйста, ко мне. У меня к вам разговор.

Барышня кивает – тихо, покорно. Девочки трепещут от возбуждения, они чувствуют: сейчас что-то произойдет.

И едва барышня входит в комнату матери, обе кидаются следом и принимают к двери. Подслушивать, подглядывать, затаиваться по углам – все это стало для них самым привычным делом. Им даже в голову не приходит видеть в этом что-то неподобающее и постыдное – ими владеет одна лишь мысль, одно стремление, одна страсть: разорвать завесы тайн, что застят от них правду жизни.

Они прислушиваются. Но сперва до них доносится лишь шелестящий шепот, слов не разобрать. Обоих уже бьет дрожь – до того им страшно, что они опять все упустят.

Но вот там, за дверью, кто-то повышает голос. Это их мать. И говорит она зло, рассерженно:

– Вы что, думаете, все вокруг слепые? Полагали, никто ничего не заметит? Представляю, как вы исполняли свои обязанности, при таком-то образе мыслей и таких, с позволения сказать, моральных устоях. И подобной особе я доверила воспитание моих детей, моих девочек, до которых вам и дела не было...

Барышня, кажется, пытается возразить. Она что-то лепечет, но слишком тихо, девочкам ее не слышно.

– Отговорки, пустые отговорки! Как у всякой вертихвостки. Которая первому встречному отдается, не думая о последствиях. Как-нибудь с божьей помощью обойдется! И подобная девица еще воспитательницей хочет быть, девочек чему-то учить! Неслыханная наглость! Надеюсь, вы не рассчитываете, что я вас в таком положении у себя в доме оставлю?

Ни живы ни мертвы, девочки слушают под дверью. У них мурашки бегут по спине. Не все из сказанного им понятно, но им страшно слышать в голосе матери столько грубости, столько гнева, а еще страшней – слышать вместо ответа на ее слова эти громкие всхлипы, эти сдавленные рыдания барышни. Невозможно слышать все это без слез, однако их мать рыдания барышни, похоже, только еще больше раздражают.

– Это единственное, что вы умеете, – реветь в три ручья, когда уже поздно. Но меня ваши слезы не трогают. Никакого сострадания к подобным особам я не испытываю. И что с вами теперь будет, меня совершенно не волнует. Уж как-нибудь сами сообразите, к кому обратиться, я вас даже спрашивать об этом не намерена. Мне одно ясно: того, кто, вопиюще пренебрегая своими обязанностями, способен пасть столь низко, я ни дня у себя в доме не потерплю.

В ответ только всхлипы, только эти отчаянные, неистовые, сдавленные рыдания, от которых девочек за дверью кидает в дрожь. Никогда они не слышали, чтобы кто-то вот так плакал. И в глубине души смутно чувствуют: кто так плачет – на том нет и не может быть вины. Их мать там, за дверью, теперь молча выжидает. Потом, с неожиданной сухостью, произносит:

– Это все, что я имела вам сказать. Сегодня же вы соберете свои вещи и завтра рано утром придете получить расчет. Уходите, сделайте одолжение!

Едва успев отскочить от двери, девочки удирают в свою комнату. Что все это значит? Такое чувство, будто прямо им под ноги молния ударила. Все еще бледные, они молча смотрят друг на друга. И впервые осмеливаются осознать, что, кажется, готовы взбунтоваться против родителей.

– Со стороны мамы это подлость – так с ней разговаривать, – изрекает наконец старшая, решительно сомкнув губы.

От столь дерзких слов младшая даже испуганно вздрагивает.

– Но мы ведь даже не знаем, что она натворила, – жалобно пробует возразить она.

– Наверняка ничего дурного. Наша барышня на такое не способна. Мама ее совсем не знает.

– А плакала она как... Мне страшно стало.

– Да, это было ужасно. А как мама на нее орала. Это подлость, говорю тебе, это подлость и больше ничего.

Она даже ногой притопывает от негодования. В глазах у нее слезы бессилия. В этот миг в детскую входит барышня. Вид у нее очень усталый.

– Девочки, после обеда у меня сегодня много дел. Вы побудете одни, я ведь могу на вас положиться, верно? А вечером я к вам снова зайду.

Она уходит, даже не заметив, насколько девочки взволнованы.

– Ты видела, какие у нее глаза? Совсем заплаканные. Не понимаю, как мама могла так с ней обойтись.

– Бедная барышня.

Снова эти слова, с жалостью, почти сквозь слезы. Девочки стоят как убитые. Но тут в детскую входит мама и спрашивает, не хотят ли они поехать с ней на прогулку. Девочки отнекиваются, прячут глаза. Они теперь боятся матери. А кроме того – они возмущены, что та ни словом не обмолвилась об уходе барышни. Нет, лучше они побудут одни. Зато после ухода матери они, как две ласточки в тесной клетке, мечутся по комнате и, кажется, вот-вот задохнутся от удушья умолчаний и лжи. Они подумывают даже, не пойти ли сейчас к барышне, расспросить ее, все у нее выяснить, уговорить остаться, сказать, что их мама не права. Но им боязно ее обидеть. А кроме того, им еще и стыдно: ведь все, что им известно, они узнали укладкой,

подслушиванием и подглядыванием. Значит, придется делать вид, будто они ничего не понимают, прикидываться дурочками, наивными дурочками, какими они были две-три недели тому назад. В итоге они так и остаются одни, и день ползет до вечера бесконечно, в тягостных раздумьях, в детских слезах, а еще с этим жестоким голосом в ушах, с этой злобной, бессердечной отповедью их матери и неистовыми, безутешными всхлипами барышни.

Вечером барышня ненадолго заглядывает к ним – только чтобы пожелать спокойной ночи. Девочки с трепетом провожают ее глазами, хотят остановить, сказать что-нибудь. И тут вдруг, уже в дверях, барышня, словно одернутая этим беззвучным окликом, снова останавливается и оборачивается. И что-то светится в ее долгом, грустном, влажно поблескивающем взгляде. Она порывисто обнимает обеих девочек, которые тут же начинают реветь, еще раз целует их и быстрым шагом выходит.

Девочки заливаются слезами. Они чувствуют: это было прощание.

– Мы больше не увидим ее, – всхлипывает одна. – Вот увидишь, завтра из школы вернемся, а ее уже не будет.

– Может, нам позволят потом ее навестить. И она, конечно, покажет нам своего ребенка.

– Конечно. Она такая добрая.

– Бедная барышня! – И снова этот вздох, ставший спутником их собственной судьбы.

– Ты хоть представляешь, как теперь все будет, без нее?

– Я другую барышню никогда полюбить не смогу. Я уже сейчас, заранее ее не выношу.

– Я тоже.

– Такой доброй у нас никогда не будет. А потом...

Она не решается произнести это вслух. Но с тех пор, как они узнали, что у их барышни есть ребенок, неосознанная, едва пробудившаяся женственность наполняет их души смутным благоговением. Они обе думают об этом непрестанно, и теперь уже не с наивным детским любопытством, а проникновенно, с глубоким сочувствием.

– Послушай, – говорит одна. – Я вот что думаю...

– Что?

– Знаешь, прежде чем она уйдет, мне хочется сделать нашей барышне что-нибудь приятное. Пусть знает, что мы ее любим и что мы не такие, как мама. А ты хотела бы?

– Ты еще спрашиваешь?

– Я вот подумала, она так любит белые розы... А что, если мы завтра с утра пораньше, еще до школы, купим ей несколько роз, а потом отнесем ей в комнату.

– Но когда?

– После школы.

– Ее тогда уже здесь не будет. Знаешь, лучше я совсем рано встану, чтобы никто не видел, и сбегаю в цветочный. А перед школой мы ей их преподнесем.

– Да, только мы вместе пораньше встанем.

Они достают свои копилки и высыпают на стол все до последней монетки. Теперь, когда они знают, что смогут напоследок выразить барышне свою пусть безмолвную, но беззаветную любовь, им легче на душе.

\* \* \*

Они встают ни свет ни заря. Но когда, с тяжелыми, пышными розами в чуть дрожащих руках, решаются постучать в дверь барышни, им никто не отвечает. Решив, что та еще спит, они на цыпочках входят. Но комната пуста, постель не смята. В беспорядке разбросаны какие-то вещи, и только на темной скатерти стола белеют несколько писем.

Девочки напуганы. Что стряслось?

– Я иду к маме, – решительно объявляет старшая. И, насулпленная, с потемневшими от гнева глазами, презрев страх, она врывается в комнату матери и с порога выпаливает:

– Наша барышня, где она?

– У себя в комнате, должно быть, – удивленно отвечает мать.

– В комнате никого, и постель не тронута. Наверно, она еще вчера вечером ушла. Почему нам ничего не сказали?

Мать даже не успевает заметить дерзкий, вызывающий тон дочери. Странно побледнев, она спешит к отцу, который, в свою очередь, немедленно отправляется в комнату барышни.

Он долго там остается. Все тем же неотрывным, гневным взглядом девочка буравит мать, которая, похоже, не на шутку взволнована и избегает встретиться с ней глазами.

Но вот появляется отец. Белея мертвенным лицом, держит письмо в руках. Зовет мать и вместе с ней снова скрывается в комнате барышни, где родители едва слышно что-то обсуждают. Девочки стоят в коридоре и даже подслушивать не осмеливаются. Им страшно навлечь на себя отцовский гнев – таким они отца никогда еще не видели.

Когда мать выходит из комнаты, вид у нее растерянный, глаза заплаканные. В неосознанном порыве девочки кидаются к ней, хотят расспросить, узнать. Но отшатываются, остановленные ее резким голосом:

– А вы отправляйтесь в школу, опаздываете уже.

И девочки покорно идут в школу. Как во сне, отсиживают там свои четыре-пять часов, никого и ничего вокруг не замечая, не воспринимая ни единого слова. А потом опрометью мчатся домой.

Внешне там вроде все как всегда, только некая жуткая мысль, похоже, повергла в оторопь всех домочадцев. Они как воды в рот набрали, и у всех, даже у прислуги, какие-то странные глаза. Мать выходит девочкам навстречу. Кажется, она приготовилась что-то им сказать.

– Дети, – начинает она, – ваша барышня больше не вернется, она...

Но договорить не решается. Столь грозными, пылающими угольками впиваются в нее, прожигают ее насквозь глаза родных дочерей, что досказать свою ложь до конца она не осмеливается. Осекшись, она отворачивается и уходит – спасается бегством в свою комнату.

После обеда неожиданно объявляется еще и Отто. Его сюда вызвали, для него ведь тоже оставлено письмо. И он тоже бледен. Стоит, как потерянный, не зная, куда себя девать. С ним никто не разговаривает. Все обходят его стороной. Завидев обеих девочек, что сиротливо жмутся в уголке, он было направляется к ним, решив поздороваться.

– Не подходи ко мне! Не прикасайся! – шипит одна, содрогаясь от отвращения. А вторая просто плюет ему под ноги. Смешавшись, он отходит, какое-то время еще слоняется по дому. Потом исчезает.

С девочками никто говорить не решается. Да и они слова не проронят. Белые, как полотно, угрюмые, не зная устали, они беспокойными зверьками бродят по комнате взад-вперед, то и дело сталкиваясь, уклоняясь, глядя друг на друга заплаканными глазами и ни слова не говоря. Они теперь знают все. Знают, что им лгали, знают, что все люди способны на подлость и низость. Они больше не любят родителей, не верят им, не верят в них. Они знают, теперь никому нельзя будет довериться, и отныне вся тяжесть этой ужасной жизни взгромоздится только на их неокрепшие плечи. Из радостной безмятежности уютного детства они разом будто рухнули в пропасть. И пусть пока они не до конца осознают то страшное, что случилось совсем рядом, но их мысли неотступно бьются над этой жуткой тайной, не давая дышать, грозя задушить. Они будто в жару – щеки покраснелись, в глазах нехороший блеск. Озноб одиночества сотрясает их души, не давая покоя, – они места себе не находят. Никто, даже родители, не решаются с ними заговорить, до того страшным, неистовым взглядом встречают они всякого взрослого, и даже безостановочное кружение по комнате не дает выхода этой ярости, бушующей в детских душах. Они и друг с дружкой не говорят – но тем сильнее ощущается

во всей повадке, в каждом движении их безмолвное, жутковатое сообщничество. Молчание, непроницаемое и неколебимое молчание, угрюмо и коварно запрятанная в себе боль, что не выдаст себя ни стоном, ни слезинкой, отделяет их от всех прочих крепостной стеной чуждости, неодолимой и опасной. Никто не смеет к ним подступиться, путь к их душам отрезан – теперь, быть может, на долгие годы. Это враги, вот что отныне сразу чувствует в них каждый, причем враги непримиримые, не ведающие пощады. Ибо со вчерашнего дня они уже не дети.

За один этот день они повзрослели на годы. Но вечером, в сумраке комнаты, оставшись наедине, они чувствуют, как возвращаются к ним прежние детские страхи, страх одиночества, страх перед видениями смерти и неизъяснимые страхи перед множеством других неизведанных вещей. Во всеобщей суматохе их комнату протопить забыли. Дрожа от холода, девочки забираются в одну кровать, обнимаются покрепче детскими ручонками, изо всех сил прижимаясь друг к другу своими худенькими, еще не оформившимися телами, каждая надеясь в сестринском объятии обрести спасение и защиту. Они все еще не решаются заговорить друг с дружкой. Но вот, наконец, младшая заливается слезами, и старшая, всхлипнув, тоже дает волю рыданиям. Обнимаясь все сильнее, девочки плачут, омывая свои лица поначалу робкими, но затем все более щедрыми ручейками теплой, солоноватой, почему-то дарующей облегчение влаги, чувствуя, как в унисон, невольно подлаживаясь друг к другу, содрогаются от всхлипов их худенькие детские тела. И вот они уже одна боль, одно горе, одно существо, горько рыдающее в темноте. И уже не барышню они оплакивают, и не родителей, что утрачены для них навсегда, – в этих слезах неизъяснимый ужас всего сущего, страх перед тем, что грядет им навстречу из этого непонятого, неизведанного мира, в который они сегодня бросили первый испуганный взгляд. То страх перед жизнью, в которую им теперь придется врататься, жизнью, что воздвиглась вдруг перед ними темно и грозно, словно лесные дебри, через которые надо пройти. И он все сумрачней – этот смутный, неизъяснимый страх, – сумрачней и туманней, почти как сон, и тише, все тише слышны их всхлипы. А вот уже и вздохи их сливаются все ровнее, как совсем недавно сливались слезы. И только теперь, наконец, они засыпают.

## Женщина на фоне пейзажа

Дело было тем знойным летом, когда бездожде и засуха принесли всему краю лютый недород, о чем даже старожилы еще долгие годы вспоминали с ужасом. Если в июне и июле над изнывающими полями еще пронеслось несколько скоротечных ливней, то с наступлением августа на них не упало ни единой капли, и даже здесь, наверху, в горных долинах Тироля, куда я, как и многие, бежал в надежде обрести спасительную прохладу, раскаленный воздух стался пыльным шафрановым маревом. Уже спозаранку с бездыханно безоблачного неба беспощадное солнце желтым, злым глазом горячего больного тупо вперялось в обмирающую округу, и от часа к часу удушливый туман вздымался над долиной все гуще, чтобы к полудню окончательно укрыть ее латунную лохань мучнистой завесой. Где-то вдали, правда, брезжили могучие гребни Доломитов, посверкивая шапками белоснежных вершин, однако девственная чистота и блаженная прохлада снега только взгляду были памятны, теперь же при их виде ощущалась разве что мучительная резь в глазах и тоска по ветру, который, должно быть, как раз сей миг там, вдали, с посвистом овеивает это снежное царство, тогда как здесь, в котле плоскогорья, тебя днем и ночью липкой пеленой обволакивает жара, тысячу ненасытных губ высасывая из тебя последние остатки влаги. В этом обреченном мире увядающих растений, пожухлой листвы, пересохших ручьев постепенно и в тебе самом угасало всякое движение жизни, вяло и бессмысленно тянулись часы. Я, как и остальные, проводил эти нескончаемые дни почти исключительно у себя в комнате, полуодетый, с занавешенными окнами, в понуром ожидании перемены, прохлады, в квелых и безнадежных мечтах о ливне и грозе. Впрочем, вскоре и эти мечты заглохли во мне, сменившись лишь оторопелой, бездумной немощью, схожей с безжизненностью полегших трав и оцепенением лесов, мертвенно застывших в зыбком, смолистом удушьи.

Между тем день ото дня становилось только жарче, а дождя все не было. Солнце палило с утра до вечера, и его желтое, свирепое око мало-помалу наливалось иступленным неистовством безумца. Казалось, приходит конец всякой жизни, повсюду стояла мертвая тишина, не слышно было ни зверя, ни птицы, с белесых полей не доносилось ни звука – воздух полнился лишь призрачным звоном раскаленного зноя и тихим шипением выкипающих земных соков. Я хотел пройтись до леса, где синели меж стволов манящие зыбкие тени, надеясь там прилечь и хоть на миг укрыться от этого нестерпимого, обжигающего желтого сияния, но даже на столь пустяковую прогулку меня не хватило. Сделав всего несколько шагов, я в изнеможении рухнул в плетеное кресло перед гостиничным входом, где и просидел то ли час, то ли два, вжимаясь в узкую полоску тени, которую услужливо бросил на гравий карниз крыши. Один лишь раз, когда скудный спасительный этот лоскуток съезжился еще больше и солнце уже подбиралось к моим рукам, я заставил себя придвинуться ближе к стенке, но после этого, уже почти лежа, молча глазел на залитое зноем безмолвие, потеряв счет времени, не чувствуя в себе ни желаний, ни воли. Время и вправду как бы испарялось в этой ужасающей духоте, часы утекали бесследно, растворяясь в бездумной горячечной дреме. Я не чувствовал ничего, кроме испепеляющего жара извне, который норовит прорваться во все мои поры, и лихорадочного, неистового бие-ния закипающей крови внутри.

И тут вдруг мне что-то почудилось в окружающей природе: будто слабый, томительный, по-прежнему жаркий вздох тихо, едва слышно шелохнул все существо ее. Я встрепенулся. Неужто ветер? Я уж и забыл, как это бывает, слишком долго иссыхающие легкие не вбирали в себя эту упоительную прохладу, да я в своем закутке под тенью карниза пока что и не ощущал ее, однако деревья там, на холме, кажется, почувствовали некое приближение и теперь слабо-слабо, едва заметно, покачивались, как бы шушукаясь друг с другом. Да, несомненно, вон и тени между ними забеспокоились. Взмолнованные, будто и впрямь живые, они уже трепетали,



словно норовя сорваться с места, и внезапно где-то вдали возник, нарастая, некий нервный, неровный, вибрирующий звук. И в самом деле: ветер пробудился над миром, поначалу просто гулом, а теперь вот и явственным, мощным порывом. Словно в панике понеслись вдруг по дороге, все в одну сторону, клубящиеся облака пыли, птицы, доселе прятавшиеся где-то в укромной мгле, теперь со свистом прорезали воздух черными молниями, зафыркали, пуская пену из ноздрей, испуганные лошади, а где-то далеко в долине тревожно замыкала скотина. Нечто могучее, грозное, очнувшись ото сна, надвигалось, было уже совсем близко, и это почувствовала земля, лес, звери, и даже безмятежное небо вдруг недовольно подернулось легкой серо-ватой дымкой.

От возбуждения меня била дрожь. Раздраженная, исколотая жалами зноя кровь гудко стучала в висках, нервы от напряжения, казалось, вот-вот заискрят, никогда в жизни мне вот так, всеми фибрами души и тела, не жаждалось вожденного ветра и упоительного блаженства грозы. И оно грядет, нарастает, возвещая о себе все явственней, все мощней. Ветер уверенно, неспешно, по-хозяйски подгоняет мягкие клубы туч, уже хорошо слышно, как он отдувается и пыхтит за горами, словно перекачивая тяжеленные глыбы. Порой эти его охи и вздохи затихают, как бы для передышки. Тогда и сосны, словно прислушиваясь, тоже замирают, и вместе с ними замирает сердце у меня в груди. Куда ни глянь, повсюду то же ожидание, что и во всем трепетном существе моем: сама земля шире распахнула иссохшие трещины своей почвы, они теперь раскрыты, как жаждущие пасти, и то же самое я ощущал всем телом, чьи поры жадно отверзались одна за другой в истовом предвкушении прохлады и вожденного, освежающего омовения спасительным ливнем. Пальцы мои судорожно сжались, словно мне по силам ухватить тучи и поскорее притянуть их сюда, на всю истомленную засухой округу.

Но они уже пожаловали сами, подталкиваемые незримой дланью, наливаясь сизой мглой, эти пухлые, набухшие курдюки, по которым сразу видно, насколько черны, насколько тяготны они от дождя, ибо соприкасаясь и сталкиваясь, они рокотали, словно огромные, неповоротливые, увесистые гири, и иногда, словно вспыхнувшая спичка, искристые всполохи зарниц пробегали по их необъятным черным телесам. Они тогда на миг высвечивались грозным голубоватым сиянием и надвигались все ближе, все черней насупливаясь своей опасной, угрюмой мощью. Словно пожарный занавес в театре, все ниже и ниже опускалось свинцовое небо. Теперь до самого горизонта было уже темным-темно, и казалось, само пространство, весь горячий воздух в нем сжимаются под гнетом туч, как бы затаив дыхание перед последним мигом, решающим и страшным. Эта черная наваливающаяся громада подавила все – не пискнет птица, обмерли деревья, даже былинка не смеет покачнуться, небо цинковой крышкой гроба накрыло раскаленную равнину, где все оцепенело в ожидании первой молнии. Не дыша, сцепив руки, я замер, обомлев от этого сладостного страха. Где-то за спиной, я слышал, засуетились люди, они уже бежали отовсюду, из леса, из холла гостиницы, горничные спешили опустить жалюзи, захлопнуть окна. Всех вдруг обуяло волнение, суэта, деятельная тревога. Лишь один я оцепенело замер, не в силах подавить дрожь, ибо все во мне сжалось, готовясь к неистовому крику, – воплю восторга при виде первой молнии.

Как вдруг за спиной у меня, совсем рядом, раздался вздох, страстный, томительный, идущий, казалось, из самых глубин измученной груди, и с ним тут же слился тоскливый, полный нетерпения возглас:

– Хоть бы, наконец, хлынуло!

И столько неистовства, столько стихийной силы было в этом голосе, в этом стоне неутоленных желаний, словно сама иссохшая земля, словно вся измученная, задыхающаяся под свинцовым игом природа исторгла его из растрескавшихся уст. Я обернулся. Позади меня стояла девушка, во всей видимости, это были ее слова, – еще полураскрыты были ее бледные, хотя и полные, красиво очерченные губы, еще подрагивала изящная, опершаяся на дверной косяк рука. И обращалась она не ко мне и вообще ни к кому. Словно над пропастью, вся она

подалась навстречу подступающей грозе, ее глубокий, бархатный взгляд неотрывно буравил темноту, что клубилась над верхушками сосен. Он был черен и странно пуст, этот почти пугающий взгляд, всей бездонностью своей погруженный в глубины неба. Лишь ввысь устремлено было жадное его внимание, лишь в пучину неповоротливых туч, чреватых вожделенной грозой, – меня же этот взгляд не замечал вовсе. Благодаря чему я получил возможность без помех разглядеть незнакомку, наблюдая, как взволнованно вздымается ее грудь, как, перехватывая дыхание, подкатывает к горлу спазм, отзываясь пульсацией двух впадинок над нежными ключицами в вырезе открытого платья, покуда, наконец, затрепетали, приоткрылись жаждущие губы и снова произнесли:

– Хоть бы, наконец, хлынуло!

И снова этот вздох, в котором слилось для меня все изнеможение мира. Было что-то нездешнее, даже сомнамбулическое в этой статуэткой застывшей фигуре, в отрешенном взгляде бархатных глаз. Бледная, блее мела даже в этом светлом платье, на фоне свинцового неба она, казалось, воплощает собой всю жажду и все нетерпение истомившейся от зноя природы.

И тут совсем рядом со мной как будто что-то шмыгнуло в траве. Потом стукнуло по карнизу. Зашуршало в горячем гравии. И вот уже отовсюду этот тихий, дробный перестук. Только тут я понял, всем существом ощутил, что это капли – отдельные, тяжелые, испаряющиеся на лету, долгожданные предвестники прохладного, блаженно освежающего ливня. О да, начинается! Уже началось! Самозабвение, сладостное упоение охватили меня. Я вмиг очнулся, я был свеж, как никогда. Я выскочил из укрытия, поймал на ладонь каплю. Тяжелая, прохладная, она обдала мне пальцы благодатной влагой. Я сорвал шляпу, лишь бы ощутить на лбу, в волосах это вожделенное омовение, я дрожал от нетерпения – до того мне жаждалось принять на себя всю силу небесного водопада, впитывать его горячей, иссохшей кожей, всеми ее отверстиями порами и еще глубже, всей жаркой, взбудораженной кровью своей. Да, пока еще они скудны и редки, эти отдельные, весомые капли, но я уже чаял их слитно рушащуюся мощь, предчувствовал эти хляби, что низринутся из шлюзов небесных на черноту леса, на всю бездыханность опаленной зноем земли.

Но странно: капли не учащались. Их можно было пересчитать. Одна, еще одна, еще – они падали поодиночке, вокруг, тут и там, потихоньку шуршало, постукивало, позвякивало, но эти звуки не сливались в единую, ликующую симфонию дождя. Нет, вокруг только нехотя капало, и ритм этот, вместо того чтобы убыстряться, становился все медленней, медленней, а потом вдруг затих вовсе. Вот так же вместе с движением минутной стрелки замирает вдруг тиканье часов – и останавливается время. Сердце мое, уже плававшее от нетерпения, обдало волной холода. Я ждал, ждал, но ничего не происходило. Все тем же свинцовым мраком хмурилось небо, мину-другую стояла мертвая тишина, а потом вдруг словно вкрадчивая издевательская ухмылка пробежала по нему. С закатной стороны оно заметно светлело, стена туч расплзалась на глазах, ленивые, неповоротливые, на вид как будто ворчливые, они теперь плыли порознь, каждая сама по себе. Их густая, черно-дымчатая плотность редела, развеивалась, и уже снова засиял на горизонте небосвод, выпрастываясь над замершей в оторопелом разочаровании округой. Словно в приступе бессильного гнева, напоследок еще покачивались, трепеща листвою, деревья, они кренились, гнулись, но потом обреченно и мертво роняли свои ветвистые, еще недавно столь жадно простертые руки. Облачная пелена рассеивалась, и вот уже свирепое, зловещее сияние снова воцарилось над беззащитным миром. Дело кончилось ничем. Гроза отступила.

Меня била дрожь. Вне себя от ярости, я кипел от бессильного негодования, от обиды, от возмущения таким предательством. Хотелось кричать, неистовствовать, хотелось немедленно что-нибудь разбить, пусть даже совершить преступление, злодеяние – столь люто мне жаждалось отмести. Всем существом своим я ощущал разочарованные ожидания природы, во мне

жили муки иссыхающей былинки, зной раскаленных мостовых, настоянная духота леса, колкий жар известняка, вся неизбежная жажда обманутого мироздания. Мои нервы, подобно проводам, пульсировали от напряжения, готовые разрядиться в напоенный электричеством воздух, тысячи вспыхивающих светляков пробежали по ним под моей болезненно чувствительной кожей. Мне все причиняло боль, все звуки извне вбивались в меня иглами, мелкие всполохи пламени мерцали повсюду, и взгляд, куда ни кинь, обжигался о них. Я был раздражен до крайности, до самых глубин природы своей, некие органы чувств, о которых доселе я ведасть не ведал, которые прежде омертвело дремали в сонном мозгу, теперь вдруг отворились, словно крохотные ноздри, и каждой я впитывал в себя зной, и только зной. И я уже не разбирал толком, что в этом моем состоянии происходит извне, а что изнутри, от моего возбуждения; тончайшая мембрана чувств между миром и мной разорвалась, все слилось в надрывной тоске разочарования, меня передергивало от омерзения при виде долины, где тут и там один за другим уже занимались огни, и каждая из этих новых вспышек обжигала меня словно искра, а каждая звезда, разгораясь, буравчиком волновала мне кровь. Одинаково безмерное, лихорадочное возбуждение царило и во мне, и вовне, словно во власти чудовищного колдовства, я воспринимал все, что сызнова накалялось вокруг, как некий внутренний, разгорающийся жар. Из самых недр моих, точно таинственная живая сущность, проникая во все фибры души и тела, разрасталось пламя, и в этом пламени, волшебной обостренностью чувств, я сопереживал все – обиду каждого поникшего листка, тоскливый взгляд пса, что, поджав хвост, трется у дверей, все, все я чувствовал, и все, что я чувствовал, причиняло мне боль. Этот пожар внутри был ощутим уже почти физически, так что когда я, собираясь отворить дверь, дотронулся до ручки, дерево под моими пальцами тихонько затрещало, как тлеющий трут.

Ударил гонг, созывая постояльцев к ужину. И этот медный звон тоже вонзился в меня и тоже причинил боль. Я осмотрелся вокруг. Куда подевались люди, что совсем недавно метались тут в суете и панике? И где та, кто воплощением всей жажды мира стояла позади меня и о ком в эти минуты замешательства и разочарования я совсем позабыл? Все куда-то пропали. Я стоял один, наедине с безмолвно замершей природой. Я снова окинул взглядом высь и даль. Небо, теперь безоблачное, все-таки не очистилось до конца. Зеленоватая дымка туго натянутой пеленой замутнила звезды, и злым кошачьим глазом поблескивал сквозь это марево диск восходящей луны. Там, вверху, все было блекло, коварно и опасно, а внизу, под этим смутным куполом, уже сгущалась ночь – фосфоресцируя и переливаясь, как тропическое море, она дышала прерывисто и трудно, как не утоленная любовью женщина. Вверху неверным, коварным мерцанием еще догорал последний свет, внизу устало и тяжело распласталась удушливая тьма, и странная, лютая вражда пролегла между ними знаком безмолвной, зловещей борьбы между землей и небом. Я старался дышать полной грудью, но вдыхал одно лишь возбуждение. Потрогал траву. Сухая как хворост, она потрескивала под моими пальцами голубыми искрами.

Снова ударил гонг. Каким-то тошным, мертвенным звоном проплыл в воздухе этот удар. Мне не хотелось ни есть, ни видеть людей, однако одиночество в полной духоте наедине с такой природой было слишком ужасно. Всей непомерной тяжестью небосвод безмолвно навалился мне на грудь, и выдерживать этот свинцовый гнет мне стало не под силу. Я прошел в ресторан. Постояльцы уже расселись за столиками. Все чинно разговаривали вполголоса, но мне даже это резало слух. Все, что хоть как-то затрагивало мои до предела натянутые нервы, становилось мне мукой: полупшепот губ, позвякивание приборов и тарелок, всякий замеченный жест, даже чужой вздох, даже посторонний взгляд. Все это, идущее извне, вонзалось в меня и ранило. Я с трудом сдерживался, чтобы не выкинуть назло всем какую-нибудь пакость, и по биению пульса в висках ощущал – все во мне накалено до предела. На кого ни глянь – я ненавидел каждого, любого из всех этих чинно восседающих, мирно жующих сограждан – им было хорошо, тогда как во мне все пылало. Я испытывал даже нечто вроде зависти – до того они благодущны, сыты, самоуверенны, до того безучастны к муке мироздания, до того глухи к немоу крику,

что распирает грудь изжаждавшейся земли. Я пронзал взглядом каждого – может, найдется хоть один, кто сострадает так же, как я, но все вокруг оставались покойны, умиротворены и невозмутимы. Кругом были только отдыхающие, ровно дышащие, благодатные, бодрые, здоровые, и лишь я, я один среди них больной, единственный, кто заживо сгорает в горячке мироздания. Официант подал мне ужин. Я попробовал есть, но не проглотил ни куска. Всякое осязание претило мне. Слишком я был переполнен духотой, смрадом, испарениями страждущей, недужной, измученной природы.

Близ меня вдруг подвинули стул. Я дернулся. Всякий звук обжигал меня, точно каленым железом. Я поднял глаза. За столиком рядом обнаружились люди, новые соседи, которых я прежде не видел. Пожилой господин с супругой, чинная буржуазная пара, пустые, невыразительные глаза, жующие щеки. Но напротив них, почти спиной ко мне, сидела девушка, скорее всего, их дочь. Мне видна была только белая, грациозная шея и над ней, отливая металлическим блеском, шлем иссиня-черных, густых волос. Она сидела почти не шевелясь, прямоухонько, и по этой неподвижности я узнал в ней ту, что совсем недавно стояла на террасе, жадно и трепетно ожидая дождя словно белая, истомленная засухой лилия. Ее болезненно тонкие пальцы то и дело нервно трогали прибор, но он ни разу не звякнул – тишина царила вокруг нее, блаженная тишина. Девушка тоже не притрагивалась к еде, лишь однажды ее рука порывисто и жадно потянулась за стаканом. О да, ее тоже снедает горячка мироздания, в приливе восторга не столько подумал, сколько почувствовал я при виде этого движения, нежно устремляя благодарный, полный сочувствия взгляд на ее тонкую шею. Наконец-то хоть одна душа, не утратившая живой связи с природой, хоть кто-то, кто, как и я, пылает в этом вселенском горниле, – и мне захотелось, чтобы она тоже узнала о нашем братстве. Я готов был крикнуть ей: «Да вот же я! Почувствуй меня! Почувствуй! Я тоже, как и ты, истомился, я тоже страдаю! Почувствуй же! Почувствуй меня!» Жгучим магнетизмом желания я окутывал весь ее облик. Не спускал глаз с ее изящной спины, мысленно гладил ее волосы, буравил взглядом этот полупрофиль, беззвучно, одними губами, звал ее, притягивал к себе, вбирал в себя и смотрел, смотрел, не отрываясь, посылая ей волны всего своего жара, лишь бы она тоже, по-сестрински, его почувствовала. Но она не оборачивалась. Оставалась недвижима, холодная и чужая, как статуя. Никто мне не поможет. И она, она тоже меня не чувствует. В ней тоже нет вселенской боли. Я сгораю один.

О, эта духота вовне и внутри, мне ее больше не вынести. Кухонные запахи блюд, сладковатые, жирные, нестерпимо били мне в нос, всякий шум действовал на нервы. Я слышал, как гудит во мне кровь, и чувствовал, что еще немного – и я провалюсь в омут пурпурного беспмятства. Каждым фибром существа своего жаждал я прохлады и простора, а все это тесное, удушливое многолюдство угнетало меня. Рядом было окно, я жадно распахнул его во всю ширь. И замечательно: на меня тут же дохнула прежняя таинственность вселенной, и бурливый ток моей крови разом влился в бездонные глубины ночного неба. Блеклой желтизной мерцала сверху луна словно воспаленный глаз в обводке красноватой дымки, а над полями призрачной, белесой пеленой стлался туман. Отчаянно, не щадя сил, стрекотали цикады, наполняя воздух почти металлическим струнным звоном. Тут и там в эту пронзительную симфонию порой вторгалось то застенчивое неблагозвучное кваканье, а то неожиданно громкий, тоскливый, с подвыванием, собачий лай; где-то совсем вдали мыкала скотина, и я вдруг вспомнил, что в такие вот удушливые ночи у коров, бывает, свертывается молоко. Природа тоже охвачена недугом, в ней тоже все кипит ожесточенным неистовством – в окне, как в зеркале, я видел отражение собственных чувств. Все существо мое стремилось туда, жаркая истома, моя и природы, жаждала слиться в безмолвном, липком объятии.

Снова подле меня задвигались стулья, и снова я вздрогнул. Ужин кончился, вокруг все с шумом вставали – вот и соседи мои поднялись и уже проходили мимо. Впереди отец семейства, сытый, благодатный, с улыбкой довольства на устах, следом супруга, а позади всех – дочь.

Теперь я видел ее лицо. Лицо заливает бледность, странная, того же нездорового желтоватого тона, что и луна за окном, и губы все еще полураскрыты, как давеча на террасе. В походке, хотя и бесшумной, нет легкости. И какое-то изнеможение во всем облике, столь созвучное, казалось, и моему самочувствию. Я ощущал странное сродство с нею, и меня это только сильнее распаляло. Что-то неведомое во мне жаждало ощутить сближение с нею – пусть меня мельком заденет краешек ее белого платья или окутает на миг аромат ее волос. В ту же секунду она взглянула на меня. Этот ее взгляд, темный, тяжелый, вонзился в меня, да так и засел, глубоко, неисцелимо, и больше я уже ничего, ничего, кроме этого взгляда, не чувствовал, ее светлое лицо разом исчезло, остался только этот черный, жадно затягивающий омут, и в черноту эту я ринулся, как в бездну. Она все еще шла мимо, однако взгляд не отпускал меня, он пронзал меня своим черным копьем, проникая все глубже, глубже. И вот уже его острие впилося мне в сердце – и сердце остановилось. Еще миг-другой она не спускала с меня глаз, а я не смел вдохнуть, и в эти секунды я беспомощно ощущал: невероятным притяжением черного магнита ее зрачков меня уносит куда-то. Но вот она прошла. И разом кровь во мне ожила, хлынула, как из открытой раны, и возбужденно заструилась по всему телу.

Да что же, что это было? Я очнулся, будто воскрес из мертвых. Виной ли всему мой жар, настолько затуманивший мой разум, что мимолежный взгляд незнакомки поверг меня в беспомыслие? Только почему мне кажется, будто в этом взгляде я чувствую то же безмолвное неистовство, ту же страшную, безрассудную, изнемогающую жажду, что теперь открывается мне во всем: в красноватом сиянии луны, в жадно отверстых трещинах почвы, в вопиющей муке зверя, – ту самую жажду, что лютует и неистовствует и во мне самом. О, как же все перепуталось, смешалось в эту невероятную, удушливую ночь, как все слилось и растворилось в нетерпеливом ожидании! Кто здесь обезумел – я или мир? Возбужденный до крайности, желая добиться ответа, я прошел в холл. Незнакомка оказалась там: она молча сидела в кресле подле родителей. Сидела, пряча свой роковой взгляд под приспущенными веками. Сидела, углубившись в книгу, – только я не верил, будто она и вправду читает. Я был уверен: если она чувствует то же, что и я, если так же страдает от бессильной муки задышающегося мира – не может она беспечно предаваться созерцательной праздности, все это только притворство, только маска в стремлении укрыться от постороннего любопытства. Я уселся напротив и уставился на нее в упор, лихорадочно ожидая встречи все с тем же колдовским взглядом – вдруг он соизволит коснуться меня вновь и на сей раз выдаст мне свои тайны. Но тщетно – она меня не замечала. Рука ее размеренно и невозмутимо перелистывала страницу за страницей, ни на что другое взгляд отвлекаться не желал. А я, сидя напротив, все ждал, сгорая от нетерпения, напрягая все неведомые силы воли, дабы каким-то чудом преобразить их в мускульное, чисто физическое усилие и сломить это упрямое притворство. Среди всех этих людей, что благодушно болтают, курят, играют в карты, между нами завязался безмолвный поединок. Я чувствовал ее сопротивление, чувствовал, что она запрещает себе поднять глаза, но чем сильнее она противилась, тем упорнее был мой натиск, ибо сила, я знал, на моей стороне – ведь за мной все упование изнуренной земли, все обманутые ожидания истомленного жаждой мира. И так же, как по-прежнему неотступно липло к моим порам влажное удушие ночи, так же моя воля осаждала ее оборону, и я знал, точно знал: еще немного – и она подарит, обязательно подарит мне свой взгляд. Позади нас кто-то заиграл на рояле. Нежная россыпь аккордов поплыла по залу, но ее тут же перекрыл взрыв хохота – компания в другом углу смеялась над чьей-то дурацкой остротой; я слышал все, воспринимал все, но ни на миг не ослаблял своего безмолвного натиска. Я даже начал, пусть про себя, но громко, отсчитывать секунды, впиваясь, ввинчиваясь взглядом в ее веки, всей гипнотической силой воли стремясь наперекор всему заставить ее все-таки поднять эту упорно склоненную голову. Минута тянулась за минутой – россыпь аккордов оттеняла их томительную неспешность, – и я уже чувствовал, что силы мои на исходе, как вдруг она резко поднялась и вскинула взор: она смотрела прямо на меня.

Опять этот взгляд, темный, нескончаемый, – черное, мшистое, жуткое, засасывающее ничто, жажда, заглатывающая меня неодолимо. Я тонул, я цепенел в этих черных зрачках, как перед глазком фотографического аппарата, ощущая, как он, впившись поначалу в лицо, затягивает меня всего в некий чуждый кровоток, в стремнину, которая уже подхватила, уже несет, земля поплыла у меня под ногами, и я отдался сладостному ужасу падения. Где-то высоко над головой еще лились мелодичные пассажи, но я уже не ведал, где я и что со мной. Кровь отхлынула из моего тела, дыхание прервалось. Дышать было нечем – минуту, час, вечность, – и тут ее веки снова смежились. Я вынырнул, как утопающий из водоворота, не помня себя, трясаясь от озноба, от наваждения, от испуга.

Огляделся. Напротив меня, в окружении других постояльцев, склоняясь над книгой, как ни в чем не бывало сидела всего-навсего стройная молоденькая девица, недвижно, как на картинке, только под тонкой материей платья едва заметно подрагивало колено. У меня тоже руки тряслись. Я знал, наша упоительная игра сейчас начнется сызнова, и снова мне придется, дрожа от нетерпения, истово подгонять минуты, чтобы потом вдруг, разом, окунуться в черное пламя этого взгляда. На лбу у меня выступил пот, кровь стучала в висках. Нет, это выше моих сил. Я встал и, не оглядываясь, прошел на террасу.

Ночь обступила сияющий огнями дом всей своей необъятной тьмой. Долина тонула во мраке, а над нею чернотой влажного мха мерцало небо. Но и здесь все еще не было прохлады, и здесь тоже, как и повсюду, все пропахло диким, неистовым соитием вожделения и жажды, которым полнилась и кровь моя. Какой-то нездоровый, влажный дух, липкий, как горячая испарина, накатывал с полей, укрытых белесой дымкой, вдали подрагивали огни, как бы плывя в непроглядной застойной черноте, а смутный желтый ободок вокруг луны сообщал ее оку нечто зловещее. Никогда еще не испытывал я такой усталости. Плетеное кресло, кем-то забытое днем, оказалось как нельзя кстати: я плюхнулся в него. Не чувствуя ни рук, ни ног, я обессиленно вытянулся и замер. И тут, почти поневоле прикинувшись к упругому полу тростнику, я вдруг ощутил духоту как блаженство. Она больше не изводила меня, она льнула ко мне, нежно и сладострастно, и я не сопротивился. Только глаза закрыл, лишь бы не видеть ничего, лишь бы полнее чувствовать природу, все то живое, что обнимает и охватывает меня. Это ночь, влажная, мягкая, податливая, как медуза, окутывала меня все плотней, лобзая тысячью своих незримых присосок. Полулежа, почти в беспамятстве, я смутно ощущал, как уступаю, отдаюсь этой неведомой силе, что, ластясь, сжимает и обволакивает меня все неодоливей и пьет мою кровь, впервые в жизни в этих душных объятиях я чувственно, как женщина, вбирал в себя нарастающий экстаз упоения любовной истомой. То был непостижимый, сладостный ужас – вдруг осознать, что ты, обомлев, всем существом безраздельно отдаешься чему-то невероятному, и неизъяснимо блаженны были незримые прикосновения, что ласкали мою кожу, мало-помалу проникая все глубже, расслабляя скованные суставы, и я не сопротивился этому сладостному вызволению чувств. Я покорился влекущей стремнине, и уже смутно, как в полусне, мне грезилось вот что: ночь и тот незабываемый взгляд, женщина в ночи на фоне пейзажа, и все это сливается в некую мглу, где так сладостно затеряться. Порой мне казалось, что тьма вокруг – это она, и тепло, что так нежно окутывает меня всего, – это тепло ее тела, так же, как и моего, растворившегося в ночи, и, блаженно осязая сквозь сон эту ее теплоту, я влекся в черной, жаркой волне любовного забвения.

Но тут что-то вспугнуло меня. Я вздрогнул, очнулся, еще толком не понимая, что со мной. И лишь секунду спустя сообразил: стоило мне блаженно закрыть глаза и откинуться в кресле, как я, оказывается, задремал. Прикорнул на часик, а может, даже и не на один, вон, свет в холле уже погашен и все давно разбрелись по комнатам. Волосы липли к вискам, похоже, этот смутный, призрачный сон сморил меня внезапно, упав, как теплая роса. Надеюсь встряхнуться, я встал и ощупью двинулся к дому. На душе было муторно, но и вокруг было не лучше. Вдали что-то погромыхивало, угрюмое небо тут и там подсвечивали зарницы. Заряженный искрами

воздух был чреват пожаром, за горами исподтишка посверкивали молнии, а во мне недавнее воспоминание смешивалось с предчувствием. Я бы с удовольствием остался еще, чтобы окончательно прийти в себя, попутно смакуя таинственную сладость рассеивающихся сновидений. Но время было позднее, и я пошел в дом.

В холле было пусто, только кресла, оставленные в беспорядке, тускло отсвечивали в слабом мерцании единственной лампы. Было что-то призрачное в их безжизненной пустоте, и я, сам не зная почему, мысленно поместил в одно из них хрупкую фигурку странного создания, чей взгляд поверг меня в такое смятение. Этот взгляд все еще жил где-то в глубинах моего существа. Он жил сам по себе, смотрел в упор, поблескивая из темноты, я смутно ощущал явность его присутствия в окружающем мраке, и его безмолвный призыв блуждающим огнем будоражил мне кровь. И все еще эта проклятая духота! Стоит прикрыть веки – и перед глазами плывут пурпурные искры. Раскаленный добела день, сверкающая огнями фантастическая ночь все еще всполохами мерцают в моем внутреннем взоре. Однако тут, в пустынном темном холле, негоже оставаться. Я стал подниматься по лестнице, но что-то меня удерживало. Я буквально чувствовал сопротивление и не мог его побороть. Хотя я и устал, но спать почему-то не хотелось. Неисповедимое чутье сулило мне, что приключения еще не кончились, и все фибры мои напряглись навстречу чьему-то живому теплу. Входя по лестнице, я будто простирали впереди себя невидимые чувствилища, стараясь проникнуть ими во все помещения, и как прежде все мое восприятие устремлено было на природу, так теперь оно обратилось на жизнь погруженного в дремотное беспамятство дома: я слышал глубокое, сонное дыхание многих людей, ощущал медленный, вялый ток их густой, черной крови, их покойное, бесхитростное и незащитное забытие, но в то же время и магнетическое тяготение некоей силы. Да, я чуял чье-то бодрствование, столь же неусыпное, как мое. Виною ли всему тот роковой взгляд или мерцающие бездны ночного пейзажа – кто же, кто внедрил в меня это огненное безумие? Сквозь стены и перегородки мне чудилось что-то податливое и живое, огонек беспокойства трепетал во мне, разжигая кровь и не желая гаснуть. Почти против воли поднимался я по лестнице, замирая на каждой ступени и жадно прислушиваясь – не только слухом, а всеми своими чувствами. Ничто не смогло бы сейчас поразить меня, ибо я знал: эта ночь не кончится без чуда, эта духота не разрядится без молнии. Остановившись на лестничной площадке, я снова ощутил свою слитность со всем внешним миром, что простерся в немой оторопи и безмолвно вопиет, взыскуя грозы. Но там, вовне, по-прежнему все было тихо. И во всем доме, кроме сонного дыхания спящих, ни шороха, ни сквозняка. Испытывая лишь разочарование и усталость, я одолел последние ступеньки, с ужасом думая о своей одинокой, пустой комнате, что ждала впереди, точно гроб.

Ручка тускло поблескивала в темноте, влажная и теплая на ощупь. Я отворил дверь. В глубине комнаты прямоугольником ночи зияло раскрытое окно, в нем верхушки елей, а за ними блеклый лоскут облачного неба. Темнота залегла повсюду – и за окном, и в комнате, и только близ окна, загадочно и смутно, чем-то призрачно белым едва мерцало пятно, необъяснимое и неуместное, как заплутавший луч лунного света. В недоумении я подошел ближе – взглянуть, что за странное свечение, когда самой луны не видно. И тут пятно шевельнулось. Я оторопел – но нет, не испугался, даром этой ночью что-то во мне готовилось, ожидало самого невероятного, предвосхищая это невероятье в мыслях и грезах. В этот час никакая встреча не поразила бы меня, а уж такая менее всего, ибо, да – это и в самом деле была она, та, о которой все это время, сам того не осознавая, я думал неотлучно, ежесекундно, при каждом шаге своем, на каждой ступеньке лестницы в этом спящем доме, – это ее бессонница так будоражила мои взвинченные чувства, проникая сквозь половицы и дверные щели. Лицо ее виднелось смутно, а стройную фигурку туманным колоколом окутывала ночная рубашка. Она стояла, прислонясь к оконной раме, всем существом устремленная туда, в мерцающее зеркало ночного мрака, вся во власти своей таинственной судьбы, непостижимая и сказочная, – Офелия над чернотой омута.

Обмирая от возбуждения и робости, я подошел ближе. Должно быть, заслышав шорох, она обернулась. Лицо ее оставалось в тени. Я не мог понять, вправду ли она меня заметила, слышит ли меня, ибо в движениях ее не было испуга, даже от неожиданности. Так мы и стояли, объятые тишиной. Только небольшие часы на стене размеренно тикали. Тишина все длилась, но тут вдруг, вполголоса и все равно неожиданно, она сказала:

– Мне так страшно.

С кем она говорит? Или она меня узнала? Точно ли меня? Уж не во сне ли? Голос тот же самый, и в нем та же легкая дрожь, что и днем сегодня, когда она испуганно смотрела на стену туч, а меня не замечала вовсе и своим роковым взглядом еще не удостоила. Все это странно донельзя, и тем не менее ни удивления, ни растерянности я не чувствовал. Я подошел к ней и взял за руку, чтобы успокоить. Рука была как трут, горячая и сухая, и пальцы покорно разжались в моей ладони. Безвольно и безропотно она позволила мне завладеть своей рукой. Да и вся была какая-то вялая, беззащитная, как неживая. С губ ее, но словно откуда-то издали, снова сорвалось:

– Мне так страшно! Мне так страшно... – А потом, с истовым вздохом, будто задыхаясь: – До чего же душно!

И это тоже прозвучало как бы издалека, хотя шептала она совсем тихо, словно поверяя мне тайну. Но я-то чувствовал: она говорит не со мной.

Я тронул ее за локоть. Она чуть дрогнула в ответ, как давеча деревья перед грозой, но не противилась. Я обнял ее крепче, она уступила. Обессиленно, не сопротивляясь, мягкой, податливой волной прильнули ко мне ее плечи. Теперь она была так близко, что я ощущал легкую испарину ее кожи, влажный аромат волос. Я стоял не шевелясь, она тоже молчала. Все это было так странно, любопытство мое разгоралось. Но росло и нетерпение. Я коснулся губами ее волос – она не отклонилась. Тогда я приник к ее губам. Сухие, горячие, они не сразу поддались моему поцелую, но потом раскрылись в ответ, однако не с жаждой страсти, а в сонной, блаженной, беспамятной неге сосущего грудь младенца. Этой тихой истомой дышали не только ее губы – все ее тело, такое стройное, теплое, трепетное под тонкой тканью, льнуло ко мне с той же безотчетной жадью, с какой совсем недавно там, на террасе, обволакивала меня темнота ночи всем безмолвным, опьяняющим вожделением своим. И в этот миг, в смятении чувств стискивая ее все крепче, я ощутил в своих объятиях влажную мягкость земли, что обессиленно, всей своей изжаждавшейся, раскаленной ширью пласталась сегодня под солнцем, призывая на себя неистовство и очистительный экстаз грозы. Я целовал ее все крепче, все ненасытней, и мне казалось, что вместе с поцелуями я вбираю в себя весь необъятный, замерший в бездыханном ожидании мир, словно в жаре ее пылающих ланит дышат паром поля, а в мягкой податливости теплых грудей мне дарует себя трепетная щедрость самой природы.

Но тут, когда мои беспокойные губы добрались до ее век, до глаз, чье темное пламя так меня сразило, когда я чуть отклонился, желая заглянуть ей в лицо и насладиться ее страстью, я вдруг увидел, что ее веки плотно сомкнуты. Передо мной была античная мраморная маска, без глаз, без чувств, она лежала у меня на руках как неживая, – Офелия, но уже мертвая, подхваченная течением, – белое, бездыханное лицо на черной глади вод. Я испугался. Впервые из фантастической круговерти событий на меня глянула неприкрытая явь. Я с ужасом понял, что сжимаю в объятиях существо без сознания, в беспамятстве, в бреде, больную, одержимую страстями сомнамбулу, которую, словно красную, зловещую луну, ленивой волной прибила ко мне в руки коварная духота этой ночи, – я обнимаю существо, не ведающее, что творит, и, быть может, вовсе не жаждущее моих поцелуев. От испуга я сразу ощутил всю тяжесть ее безвольно поникшего тела. Я попытался осторожно опустить ее в кресло или на кровать, лишь бы не поддаться соблазну и не воспользоваться ее беспамятством, не совершить то, чего, быть может, она совсем не желает, чего желает лишь демон, обуявший ее кровь. Но едва почувствовав, что объятия мои ослабевают, она сонно залепетала:



– Не отпускай меня! Не отпускай! – умоляла она, и все жарче впивались в меня ее губы, льнуло ко мне ее тело. За закрытыми глазами лицо ее исказила мука, и я с ужасом догадался, что она хочет и не может проснуться, что ее одурманенные чувства рвутся из темницы беспмятства к ясности и свету сознания. Но как раз это неистовое усилие, эта судорога под свинцовой маской сна, столь очевидно выказывая жажду во что бы то ни стало очнуться от колдовского наваждения, подбивала меня на опасный соблазн ее разбудить. Я весь горел нетерпением увидеть ее не лунатичкой в трансе, а девушкой в ясном уме, способной внятно говорить, и я любой ценой хотел добиться осознанного бодрствования от этого бездушного, тупо жаждущего наслаждений тела. Я рванул ее к себе, я ее встряхивал, впивался зубами в ее губы, стискивал плечи, лишь бы она наконец открыла глаза и осознанно предалась тому, к чему сейчас влекла ее слепая, бездумная похоть. Но она только извивалась и стонала в моих неистовых объятиях.

– Еще! Еще! – бормотала она с глухой, неосознанной страстью, которая меня самого возбуждала до потери сознания. Я знал, еще немного – и она проснется, знал, что эти сомкнутые веки вот-вот раскроются, ибо они уже беспокойно подрагивали. Я еще крепче ее стиснул, еще сильнее прижался к ней всем телом, и вдруг губы мои ощутили солоноватую влагу – то была слеза, скатившаяся у нее по щеке. Грудь ее, отвечая на мои объятия, вздымалась все выше, она стонала, тело ее судорожно напряглось, как будто силясь разорвать некий невероятный обруч, сковавший ее во сне, – и вдруг точно молния полоснула в грозовом небе – этот обруч в ней лопнул. И она тотчас снова тяжело обмякла у меня на руках, губы уже не отвечали моим поцелуям, руки повисли плетьюми, а когда я опустил ее на кровать, она была недвижима, как мертвая. Я обомлел от ужаса. В испуге, не веря себе, непроизвольно стал трогать ее руки, плечи, гладить по щекам. Она была холодна, как лед, и безжизненна, как камень. Только на виске тихо и мерно пульсировала жилка. Передо мной была статуя, бесчувственный мрамор, только слезы на щеках еще не просохли, и почти незримым признаком дыхания едва заметно подрагивали ноздри. Иногда, правда, утихающей волной былой бури в крови, легкая дрожь пробежала по всему телу, и грудь дышала все тише и тише. Неподвижная, она лежала, как на картине. Все человечнее становилось ее умиротворенное, по-детски прояснившееся лицо. Судорожное неистовство больше не искажало ее черты. Она задремала. Она спала.

Сидя на краю кровати, я склонился над ней, не в силах унять дрожь. Мирное дитя лежало передо мной, глаза закрыты, на губах тень улыбки – должно быть, от сладких снов. Я склонился еще ниже, теперь я видел каждую черточку этого лица, щекой ощущал ее ровное дыхание, но чем ближе я в нее всматривался, тем отдаленнее, тем таинственней она становилась. Откуда знать, где, в каких грезах витает сейчас та, что лежит передо мной каменным изваянием, та, кого, как утопленницу, прибило к моим чужеземным берегам теплым течением этой удушливой ночи? Кто она, та, кто покоится сейчас на моих руках, откуда она, чья будет, из каких краев? Я же ничего о ней не знаю, а чувствую только одно – что меня ничто с ней не связывает. Я смотрел на нее неотрывно, одинокие минуты шли, часы на стене бездумно тикали, а я все силился хоть что-то прочесть в ее безмолвствующем лике, но ничто, ничто в ней мне не открылось. Хотелось даже разбудить ее, вырвать из этого чуждого, непроницаемого сна, что овладел ею в моей комнате, совсем рядом со мной, с моей жизнью, – но и пробуждения ее, первого ее сознательного взгляда я страшился. Так и сидел, безмолвно, недвижно, то ли час, то ли два, оберегая сон этого таинственного существа, и постепенно мне стало казаться, что это не женщина, столь невероятным образом вступившая со мной в такую близость, а сама ночь открывает мне таинства истомленной жаждой и страстями природы. Казалось, здесь, на руках у меня, возлежит весь иссушенный солнцепеком мир, наконец-то всеми трещинами почвы ощутив блаженную передышку, как будто сама земля, вздыбившись от невероятной муки, выслала мне свою вестницу из тьмы этой невероятной, фантастической ночи.

Позади что-то вдруг задребезжало. Я вздрогнул, точно застигнутый с поличным. Окно задребезжало снова, сильно, будто великан кулаком постучал. Я вскочил. В окно глядело что-

то жуткое: какая-то совсем другая ночь, угрюмая, зловещая, вся в черных клубках и грозно мерцающих всполохах. Какой-то гул вдали, сопровождаясь завыванием и шумом, нарастал неумолимо, и вот уже что-то черной башней воздвиглось до неба, уже ринулось на меня из мрака, студеным, влажным, лютым порывом – ветер! Выхватившись из тьмы, он рвал и метал, могучий, неистовый, своими ручищами он распахивал и захлопывал створки окон, сотрясал дом. Тьма разверзлась гигантской, ужасающей бездной, тучи неслись по небу, стремительно сплываясь в черные, непроглядные массы, и протяжный, лихой, разбойничий посвист гулял между небом и землей. Вмиг и неведомо куда смело застойное удушье – вокруг все колыхалось, кружилось, перекачивалось, от края и до края несло по небу, деревья, столь надежно вросшие корнями в землю, кренились и стонали под незримиыми, хлесткими ударами небесного бича. И тут вдруг, будто под сверкнувшим лезвием топора, мир раскололся надвое – ослепительная молния полоснула по небу сверху вниз. И тотчас оглушительно грянул гром, словно обрушив на землю весь свинцовый от туч небосвод.

Позади меня раздался шорох. Это она вострепелась. Белесый всполох молнии сорвал сон с ее век. Ничего не понимая, она растерянно озиралась.

– Что это? – пробормотала она. – Где я?

Но это был совсем не тот голос, что прежде. В нем еще слышались нотки недавнего страха, однако звучал он чисто, внятно, свежо, как омытый грозой воздух. Новый прочерк молнии вспорол полотно пейзажа: мелькнули ярко озаренные ели, взлохмаченные порывами бури, тучи, несущиеся по небу вспугнутой звериной стаей, комната, ослепительно-белая в ослепительной вспышке, и в ней, еще блее, ее бледное лицо. Она вскочила. Вскочила легко, стремительно, с грациозной свободой в движениях – такой я ее еще не видел. В темноте она уставилась на меня. Этот взгляд показался мне чернее ночи.

– Вы кто? Где я? – вопрошала она, испуганно прикрывая вырез распахнувшейся рубашки. Я шагнул к ней в намерении успокоить, но она отпрянула.

– Что вам надо? – вскричала она уже во весь голос, когда я все-таки приблизился. Я лихорадочно подыскивал слова, чтобы все объяснить, заговорить с ней, и только тут сообразил, что даже имени ее не знаю. Новая вспышка молнии озарила комнату. Словно облитые фосфором, нездешней, мертвенной белизной высветились стены, где она стояла передо мной вся белая, испуганно упершись мне в грудь кулачками, и ненависть, только безграничная ненависть читалась в ее теперь уже вполне осознанном взгляде. Во тьме, что упала вместе с громовым раскатом, я тщетно попытался ее задержать, успокоить, что-то объяснить, – она вырвалась, в новой вспышке молнии увидела дверь, распахнула и выбежала вон. И вместе со стуком захлопнутой двери бабахнул гром – с такой силой, будто небо треснуло и обрушилось на землю.

И тут хлынуло – водопадами низринулись с бескрайних высей потоки, а буря взметывала и трепала их, точно рассыпающиеся брызгами канаты. Иной раз ковш ледяной воды с плотком сладостного, пряного воздуха в придачу доставался и моему раскрытому окну, перед которым я стоял, не в силах наглядеться, покуда не намокли волосы и не потекло холодными струями с лица. Но какое это было блаженство – всем существом встречать освежающую силу стихии, словно и внутри меня под ударами молний, прогоняя духоту, гуляют очистительные сквозняки; я готов был кричать от восторга. Позабыв все на свете, я купался в экстазе упоения оттого, что снова можно дышать, всем телом ощущая свежесть, и я вбирал в себя эту влажную прохладу, как земля, как почва: я чувствовал благодарное содрогание встряхиваемых ветром деревьев, что с шелестом гнулись под мокрыми плетями ливня. Демонически прекрасна была эта любострастная схватка небосвода и земли – воистину исполинская брачная ночь, возделенная сладость которой передавалась и мне. Молниями впивался, громом обрушивался небосвод на обомлевшую, трепетно содрогающуюся невесту, и в этой стенающей тьме, точно в неистовом плотском соитии, сливались высь и глубь. И деревья стонали от истомы, и все жарче вспыхивали молнии, оплетая даль своими объятиями, и видны стали отворенные жилы небес,

из которых хлестало потоками, упало на землю, ручьями текло по тропкам и проселкам. Все рушилось, плеща, бурля и смешиваясь – эта ночь и этот мир в ночи, – как по-другому, совсем по-новому теперь дышится блаженными дуновениями, в которых дух воспрянувших луговых трав слился с огненным озоном грозы, проникая в меня спасительной прохладой. Три недели застойного зноя отводили душу в этой схватке, и во мне тоже, я чувствовал, спадает внутренняя натуга. Казалось, дождь хлещет прямо в мои поры, очистительный ветер свищет у меня в груди, и я был не одинок больше в своих ощущениях и чувствах, во всем этом буйстве природы я был заодно, был един с миром, ураганом, ливнем, с ночью и всей живой жизнью. И после, когда все постепенно стало утихать, когда молнии, уже не яростные, почти дружелюбные, матовой голубизной зарниц подсвечивали горизонт, когда гром уже только наставительно, по-отечески ворчал, а притомившийся ветер уже не нарушал размеренный, ровный шум дождя – тогда меня потихоньку начали одолевать успокоение и усталость. Казалось, ласковая музыка убаюкивает мои взвинченные нервы, и мягкая расслабленность растекается по всему телу. Ах, теперь бы только поскорее заснуть вместе с природой – и пробудиться вместе с ней! Я сбросил одежду и упал на кровать. Там все еще ощущались мягкие, теплые контуры чужого тела. Я ощущал их уже почти сквозь сон, странное приключение напомнило о себе снова, но как-то невразумительно и невнятно. Дождь за окном шумел и шумел, смывая прочь мои мысли. Все происшедшее казалось почти сном. Мыслями я силился туда вернуться, но дождь все шумел и шумел, бархатная, воркующая ночь казалась волшебной колыбелью, куда я, убаюканный ее дремотой, блаженно и погрузился.

Наутро, подойдя к окну, я замер в изумлении: мир преобразился. Ясно обозримая, в четких, праздничных очертаниях, утопая в незамутненном солнечном свете, расстилалась передо мной вся округа, а высоко над ней, светозарным отражением этого тихого великолепия, бездонным куполом круглился лазурный небосвод. Все было разделено предельно четко, в бесконечную высь взлетало небо, что еще вчера оплодотворяло поля, яростно внедряясь в них всей своей похотью. Теперь же оно было далеко и недостижимо, как нездешние миры, нигде и ни в чем не желая соприкасаться со своей супругой – полной пряным духом, вольно дышащей, утоленной землей. Голубая бездна холодно и светло зияла между небосводом и твердью, вчуже, бесстрастным взором глядели они друг на друга.

Я спустился в ресторан. Постояльцы были уже в сборе. Их тоже было не узнать, не сравнить с тем, как они выглядели все минувшие недели невыносимого, изнуряющего зноя. Теперь все было полно жизни и движения. Смех раздавался радостно, голоса лились легко, мелодично, с веселым призвуком металла, прежняя сдавленность покинула их, путы духоты порвались и спали. Я уселся среди всех прочих, уже без малейшей враждебности, и почти неосознанно стал искать глазами ту, чей образ за время сна едва не исчез из моей памяти. И точно – за соседним столиком, между матерью и отцом, сидела та, кого я искал. Ей было весело, плечи непринужденно расправлены, колокольчатый смех звучал беззаботно. Я с любопытством на нее поглядывал. Меня она не замечала. Рассказывала что-то забавное, то и дело перемежая рассказ счастливым детским смехом. Наконец ее взгляд ненароком скользнул по мне, и смех тут же оборвался. Теперь она посмотрела на меня уже пристально. Что-то неприятно укололо ее, брови чуть приподнялись, пытливый взгляд устремился на меня вопрошающе и строго, а на лице постепенно проступило напряженное, мучительное выражение: она явно пыталась что-то припомнить – и не могла. Глаза наши встретились, я не отводил взгляда, дожидаясь, не промелькнет ли на ее лице знак тревоги или смущения, но она уже снова глянула куда-то в сторону. Минуту спустя она посмотрела на меня снова, словно желая удостовериться в чем-то. Ее взгляд, теперь уже пытливо, изучал мое лицо. Какую-то секунду, долгую, волнуемую секунду я чувствовал, как он проникает в меня своим острым металлическим зондом, но потом, успокоившись, выпустил меня из поля зрения, и по незамутненной ясности ее глаз, по легким, даже слегка задорным поворотам головы я догадался, что теперь, наяву, она совершенно меня не

узнает и ничего не помнит: наше свидание сгинуло для нее вместе с чудодейственной тьмой минувшей ночи. Мы были снова чужды и далеки друг другу, как земля и небо. Она о чем-то болтала с родителями, беззаботно поводя стройными девичьими плечиками, и ровные зубы весело поблескивали в улыбке чуть приоткрытых, изящно очерченных губ, с которых я совсем недавно пил жажду, духоту и томление целого мира.

## Смятение чувств

### *Из частных записок тайного советника Р. фон Д.*

Разумеется, они хотели как лучше, мои ученики и коллеги с факультета: вот он, передо мной, роскошно переплетенный, торжественно преподнесенный, самый первый экземпляр юбилейного сборника, подготовленный филологической общественностью по случаю моего шестидесятилетия и тридцатилетия моей академической деятельности. Ни дать ни взять, прямо-таки биография: ни одна моя статейка, даже крохотная, ни одна произнесенная мною речь, ни одна даже самая ничтожная рецензия в запыленном научном ежегоднике не ускользнули от неумного библиографического рвения – все они извлечены из бумажной могилы, и мой путь наверх, неуклонный и без помех, ступенька за ступенькой, словно чисто выметенная лестница, представлен здесь вплоть до нынешнего часа, – воистину, было бы черной неблагодарностью не оценить столь трогательную и кропотливую заботу. В этом торжественно-юбилейном отражении все прожитое и пережитое, успехи и утраты, возвращается ко мне в строго упорядоченной совокупности, и, да, не скрою, я, пожилой уже человек, взираю на эти страницы с не меньшей гордостью, нежели когда-то, еще школяром, смотрел на табель с подписями учителей, впервые отметивших мои способности, прилежание и склонность к наукам.

И все же: перелистав эти две сотни скрупулезным тщанием овеванных страниц и пристально вглядевшись в свой облик, каким он видится моему внутреннему оку, я не могу сдерживать улыбку. Неужто и вправду такой была моя жизнь, неужто и в самом деле от первого часа до нынешней даты она взбиралась в гору столь уверенным и целеустремленным серпантинном, каким сложил ее здесь из бумажных завалей добросовестный хронист? Точно такое же чувство я испытал, впервые в жизни услышав свой голос в растребе граммофона: я сначала вообще себя не узнал, ибо это был тот мой голос, каким его слышат окружающие, но не я сам, сквозь гул своей крови, во внутренней скорлупе своего бытия. И вот сам я, всю жизнь посвятивший тому, чтобы судить о людях по их делам и творениям, каковые, как мне казалось, только и выявляют духовную суть человека, теперь уже на собственном примере убедился, до чего таинственным, непроницаемым в любой судьбе может оказаться то сокровенное, исконное зерно, та живительная ячейка, из которой и происходит сущностное произрастание личности. Мы проживаем на своем веку мириады секунд, но лишь одна из них, одна-единственная, дает толчок и приводит в созидающее волнение весь духовный мир, – та секунда (ее описал Стендаль), когда наш внутренний, уже всеми соками напитанный цветок молниеносно кристаллизуется; эта магическая секунда подобна мгновению зачатия и столь же сокрыта в теплой сердцевине жизни своей – незримое, неосязаемое, неощутимое, совершенно по-особому пережитое таинство. Никакой умственной алгеброй ее не исчислить, никакой алхимией интуиции не угадать, и лишь крайне редко ее удастся уловить собственным чутьем.

Так вот, о самом сокровенном, о святой святых моего духовного становления в этой книге нет ни слова – потому я и не удержался от улыбки. Тут вроде бы все правда – но главного недостает. Эта книга меня описывает, но никак меня не выражает. Она говорит обо мне, но никоим образом меня не раскрывает. Две сотни имен насчитывает дотошно составленный указатель – и лишь одного имени там нет, имени человека, от которого воспринят мною творческий импульс, того, кто определил всю судьбу мою и кто теперь снова, с удвоенной силой, влечет меня во времена моей юности. Обо всех тут сказано – только не о нем, том, кто дал мне язык, чьим дыханием живо мое слово: и именно сейчас, внезапно, я ощутил в малодушии этого умолчания свою вину. Весь свой век я запечатлевал образы людей, вызывая их тени из тьмы столетий, оживляя их для восприятия современников, а того, кто был мне современной и дороже всех, я даже не упомянул, не помянул ни разу; а коли так, я хочу, как в гомеровские

времена, напоить возлюбленную тень своею кровью, дабы он, давно ушедший со склона лет, снова заговорил со мной, тем, кто пока что еще на склоне. В память об этом человеке, ради него и в благодарение ему, я хочу ко всем страницам этой открытой книги приложить еще одну, потаенную, дополнить ученый том признанием чувства, самому себе поведав правду о своей юности.

Прежде чем начать, я еще раз перелистываю страницы юбилейного сборника, мнящего себя повествованием о моей жизни. И снова не могу удержаться от улыбки. Да как же они намеревались проникнуть в самую суть моего существа, если уже на пороге ошиблись дверью? Первый же шаг – и сразу мимо! Вот же, мой благожелательный соученик, ныне, кстати, тоже тайный советник, вдохновенно плетет, будто я уже в гимназии выделялся среди всех одноклассников страстной любовью к гуманитарным предметам. Подводит, ох, подводит вас память, дражайший тайный советник! Вся эта гуманитарная галиматья была для меня плохо переносимой тягомотиной, которую со скрежетом зубовым пропускаешь мимо ушей. Сын школьного ректора в небольшом северном городишке, я с молодых ногтей наблюдал всю неприглядную изнанку так называемого образования, воспринимаемого в семье лишь как средство добывать хлеб наш насущный, и с детства всякую словесность возненавидел. Совсем неспроста природа, мистическим образом верная своему долгу сохранять в себе творческое начало, внушает чаду отвращение и язвительную неприязнь к склонностям отца. Ей не угодно покорное, худосочное наследование, привычное, бесконфликтное продолжение одного и того же из поколения в поколение: ей непременно нужно вклинить противоречие между схожестями родства, и отнюдь не сразу, а лишь по прошествии испытаний, мучительным, но зато плодотворным обходным путем позволяет она наследнику вернуться на стезю предков. Раз отец мой почитал науку святыней, я в своей тяге к самоутверждению видел в ней лишь пустопорожнее занудство и жонглирование понятиями; он прославлял классиков как непреложный образец, мне в них слышалась только скучная назидательность, ставшая ненавистной. Выросший среди книг, я презирал книги; вечно понуждаемый отцом к духовному росту, я бунтовал против любых форм книжного образования; неудивительно, что я с превеликим трудом, через пень колоду дотянул до аттестата зрелости, после чего от поступления в университет отказывался наотрез. Я хотел стать офицером, моряком или инженером, хотя настоящих задатков ни к одной из этих профессий я не имел да и склонности всерьез не питал. Стремление к практическому, деятельному поприщу вызвано было в моей душе лишь неприязнью к бумажной науке, к ее тоскливой дидактике. Однако отец мой, с его фанатичным почтением ко всему университетскому, настаивал на академическом образовании. Единственное послабление, какое мне удалось выбить, – это избрать вместо классической филологии англистику (компромиссное это решение отчасти было связано с потаенной надеждой, что знание общепризнанного языка моряков позволит мне впоследствии тем легче переключиться на столь притягательную своей романтикой морскую карьеру).

Так что нет ничего более вздорного в этом *curriculum vitae*<sup>1</sup>, нежели благостное утверждение, будто в первом своем берлинском семестре я под мудрым попечением заслуженных профессоров уже освоил фундаментальные основы филологической науки – да моя буйная страсть к свободе ведать не ведала и знать ничего не желала ни о каких лекциях, профессорах и доцентах! Первое же, мимолетное посещение занятий, первый же глоток этого затхлого воздуха, первые звуки лекторского голоса, велеречивого, но в то же время монотонно-пасторского, повергли меня в такую сонную оторопь, что стоило поистине немалых усилий тут же не уронить голову на конспект – это была все та же школа, от которой, казалось, я наконец-то столь счастливо избавился, все та же, приволочившаяся за мной классная комната с учитель-

<sup>1</sup> Жизнеописание (лат.).

ским пультом и вечным толчением воды в ступе: мне, без шуток, и вправду почудилось, будто из тонкогубого рта почтенного тайного советника за лекторским пультом сыплется песок – до того тускло, до того равномерно и безлико струились затертые слова из потертой тетрадки лекционного курса в спертый воздух аудитории. Еще со школьной скамьи знакомое тоскливое, с примесью ужаса, ощущение, будто я попал в покойницкую духа, где безразличные руки анатомов деловито копошатся в мертвом теле, – под сводами зала, в этой холодной кузне унылых, мертвенных, давно уже антикварных александрийских ритмов прежнее ощущение ожило с пугающей явностью; и насколько же усилилось инстинктивное это отвращение, едва я, с трудом высидев непереносимо скучную лекцию, вышел на берлинские улицы – улицы Берлина той поры, когда город, сам изумляясь стремительности собственного роста, гордясь своей внезапно пробудившейся мужественностью, щедро заливая каменные пролеты и мостовые всех своих улиц и закоулков потоками электрического света, оглушал и неодолимо захватывал всякого своим бешеным, горячо пульсирующим темпом, своей неукротимой жаждой новизны, столь созвучной ненасытным порывам моей собственной, впервые замечаемой возмужалости. Мы оба, город и я, вырвавшись из тисков протестантского, мелкобуржуазного, помешанного на дисциплине, порядке и мещанских ограничениях бытия, очертя голову отдавались дурманящему буйству впервые ощущаемых новых сил и возможностей, – мы оба, город и я, едва оперившийся, нескладный юнец, от нетерпения и внутреннего жара вибрировали как динамо-машина. Никогда, ни до, ни после, я не чувствовал, не понимал, не любил Берлин, как в ту пору, ибо так же, как в этих переполненных сотах бурлящего, животворного людского многолюдства, точно так же и во мне самом каждая клеточка жаждала стремительного разрастания, – где еще, как не там, в этом пышущем силой, охваченном дрожью нетерпения городе, что раскидывался перед тобою весь, как гигантская распаленная женщина, где еще, как не в ее ненасытном, судорожно пульсирующем лоне мог я с такой же самоотдачей, до конца и без остатка, излить весь необузданный экстаз своей юности! И она, эта женщина, приняла меня сразу, одним жадным рывком, и я ринулся, вторгся в нее, жарким током крови проникая в ее жилы, мое неукротимое любопытство спешило обшарить все ее каменное, но такое живое, теплое тело, – с утра до ночи шатался я по улицам, ездил на озера, прокрадывался в самые потаенные уголки, – нетерпение, жадность, с которыми я, вместо того чтобы исправно ходить на занятия, торопился изведать все приключения этой захватывающей, неведомой прежде жизни – поистине, то была одержимость. Но даже в этой крайности я, впрочем, остался верен одной особенности своей натуры: с детских лет я не способен совмещать разные занятия, заинтересовавшись чем-то одним, я становлюсь глух к чему-либо другому; везде и повсюду я сохраняю за собой эту странность, и даже сейчас, в повседневной работе своей, я, как правило, столь фанатично вгрызаюсь в какую-то одну проблему, что не отступлюсь, пока не раскушу и не обглодаю ее до самого конца.

В те берлинские месяцы дурман свободы опьянил меня настолько, что даже нахождение в четырех стенах собственной комнаты, не говоря уж о пребывании, пусть мимолетном, в застенках лекционного зала, было мне невыносимо: все, что не сулило новых приключений, казалось мне пустой тратой времени. И уж совсем неодолимо меня, вчерашнего вислоухого провинциального юнца, прельщал соблазн почувствовать себя настоящим мужчиной, я щеголял в студенческой корпорации, пытаюсь, вопреки своей (в общем-то скорее застенчивой) натуре, всей повадкой выказать себя дерзким, разбитым, беспутным малым, неделю не прожив в столице, я уже норовил изобразить из себя бывалого берлинца и завязатого немецкого патриота, с поразительной быстротой, как истинный *miles gloriosus*<sup>2</sup>, освоил привычку сиживать, кутить, а то и буянить в небольших кофейнях. В сей реестр обретаемой мужественности, понятное дело, входили и женщины – а точнее говоря, бабы, как они именовались на нашем высокомерном студенческом жаргоне, – и вот тут мне как нельзя кстати пришлось мое, что скрывать, довольно

<sup>2</sup> Бывалый ветеран (лат.).

приглядная внешность. Высок ростом, строен, с еще не поблекшим бронзовым морским загаром на щеках, спортивный и ловкий в каждом движении молодого, ладного тела, я играючи затыкал за пояс любых соперников, всех этих рыхлых, бледных рассыльных и приказчиков с выпученными селедочными глазами, которые, как и наш брат студент, каждое воскресенье ввечеру выходили «на охоту», отправляясь на танцульки в Халлензее и Хундекеле (тогда это были еще дальние берлинские пригороды). Моим трофеем могла оказаться то аппетитная горничная, белокурая мекленбурженка с молочно-белой кожей, которая забежала на танцы перед отъездом домой в отпуск и которую я, еще разгоряченную от пляски, прямо с танцев затащил в свою студенческую конуру, то сублинная нервная евреечка из Познани, продавщица чулок у Тица – по большей части все это была легкая добыча, дешево доставшаяся и уже вскоре переданная товарищам. Но как раз негаданная легкость побед кружила голову вчерашнему робкому новичку – дешевые эти успехи только усугубляли мою распушенность. Я жадно расширял области поиска: после племянницы квартирной хозяйки настал черед замужней женщины – вот он, первый настоящий триумф всякого повесы. Мало-помалу любой выход на улицу превратился для меня лишь в набег на мои законные угодья, в охоту без разбора и правил, сугубо из спортивного азарта. И когда однажды, в ходе такой охоты, поспешая за хорошенькой девушкой, я очутился «под липами», на Унтер-ден-Линден, да еще – игрою случая – прямо перед зданием университета, я не смог удержаться от смеха при мысли, как давно нога моя не переступала порога сего почтенного заведения. Потехи ради, на пару с таким же гулякой-товарищем, я вошел; но стоило нам лишь приоткрыть дверь, увидеть (вот уж поистине смехотворное зрелище) полторы сотни раболепно сгорбленных над конспектами спин, как бы молитвенно вторящих усыпляющей литании седобородого профессора, – и я тотчас поспешил прикрыть дверную створку, предоставив ручейку тоскливого лекторского красноречия журчать по согбенным выям прилежных однокашников, а сам вместе с товарищем горделиво вышел на улицу, под приветливую сень солнечной аллеи. Иной раз мне думается, ни один молодой человек не транжирил свое время более бесполезным и безрассудным образом, нежели я в те месяцы. Я, ручаюсь, не прочел в то время ни одной книги, не сказал ни единого разумного слова, не обдумал ни одной сколько-нибудь достойной этого названия мысли – какое-то чутье повелевало мне избегать всякого культурного общества, лишь бы острее ощущать всем своим молодым, пробудившимся телом пряную едкость небывалого и доселе запретного. Должно быть, подобное расточительное саморазрушение, упоение собственными жизненными соками некоторым образом неизбежно присущи всякому сильному и внезапно ощутившему свободу молодому организму – однако в моем случае увлеченность, даже одержимость подобной распушенностью обрели совершенно особые, опасные формы, и, вероятней всего, я бы окончательно опустился или по меньшей мере погубил бы в себе все человеческие чувства, если бы в дело не вмешался случай, уберегший меня от полного нравственного падения.

Случай этот – сегодня я благодарно называю его счастливым – оказался вот каким: неожиданно-негаданно в Берлин нагрянул мой отец, вызванный министерством на конференцию ректоров. Матерый педагогический волк, он решил воспользоваться благоприятной возможностью и, не извещая сына о приезде, застигнуть его врасплох внезапным визитом, дабы посмотреть, как поживает, что поделявает начинающий студент. Затея эта, надо признать, удалась ему как нельзя лучше. В тот вечерний час у себя в дешевой студенческой каморке на севере города – проход в нее был отделен от хозяйской кухни лишь занавеской – я, как и почти всегда в такое время, весьма интимным образом принимал некую девицу, как вдруг в дверь вполне внятно постучали. Полагая, что это кто-то из друзей-приятелей, я лишь сердито буркнул: «Я занят!» Однако вскоре стук повторился, затем и во второй, и, уже с явным нетерпением, в третий раз. Чертыхаясь, я кое-как натянул брюки, и, в намерении отчитать и навсегда отвадить непрошеного гостя, как был, в расстегнутой сорочке, с болтающимися подтяжками, босиком, в сердцах распахнул дверь, чтобы тут же отшатнуться, как от увесистой затрешины: в темной



прихожей я различил и тотчас узнал силуэт отца. Лица его, правда, было совсем не видно, только стекла очков, отражая полусвет из комнаты, тускло поблескивали. Но и одного силуэта было достаточно, чтобы готовые вырваться гневные, грубые слова острой костью застряли у меня в горле: я стоял как громом пораженный. И лишь придя в себя, вынужден был – ужасный, постыдный миг! – униженно попросить его несколько минут обождать на кухне, пока я приберу в комнате. Как уже сказано, лица его я не видел, но я почувствовал: он все понял. Я почувствовал это по его молчанию, а еще по плохо сдерживаемому отвращению, с которым он, даже не подав мне руки, брезгливо отодвинул занавеску и прошел на кухню. И там, на кухне, возле плиты с ее смрадным духом подогретого кофе и пареной репы, он, мой отец, пожилой уже человек, прождал целых десять минут, одинаково унижительных и для него, и для меня, пока я вытаскивал из постели, засовывал в платье и мимо него, поневоле и неминуемо все это слышавшего, выпроваживал по коридору девицу. Он, конечно же, слышал, как она проходит мимо, заметил, как колыхнулась от ее поспешного шага занавеска; а я все еще не мог выпустить его из его постыдного укрытия – сперва надо было прибрать постель, устранив хотя бы совсем уж непотребный беспорядок. Лишь после этого – никогда в жизни мне не было так стыдно – я вышел к нему.

В ужасный этот час отец повел себя безупречно, за что я в глубине души и по сей день безмерно ему благодарен. Его давно уже нет в живых, но всякий раз, когда мне хочется о нем вспомнить, я возбраняю себе смотреть на него глазами школяра с ученической парты, ибо тогда, уже по привычке не умея сдержать презрение, я вижу перед собой лишь бездушный автомат по исправлению ошибок, въедливого, неотступно придирчивого, помешанного на пунктуальности педанта, – нет, я воскрешаю в памяти самую человечную его минуту, когда он, в моих глазах уже почти старик, преодолевая безмерное отвращение, но сдержав себя, ни слова не говоря, входит вслед за мной в душную, провонявшую беспутством комнатенку. В руках у него перчатки и шляпа, он машинально хочет их положить, но не находит куда, и по застывшей позе видно, до чего непереносимо ему какое-либо соприкосновение со всей этой грязью. Я предложил ему кресло, в ответ он лишь повел рукой, отстраняя от себя саму возможность физических контактов с подобным антуражем.

Несколько ледящих душу мгновений мы, отводя глаза, стояли молча, после чего он наконец снял очки и принялся обстоятельно их протирать, что, как я знал, было у него признаком смущения, а то и замешательства; не укрылся от меня и другой, почти стыдливый жест, когда он, надевая очки, тыльной стороной руки украдкой провел по глазам. Ему было стыдно передо мной, а мне было стыдно перед ним, и ни один из нас не находил слов. Втайне я боялся, что он начнет читать мне нотацию, громким занудным голосом затянет одну из тех своих веле-речивых проповедей, которые еще со школы вызывали во мне лишь ненависть и издевку. Он, однако, – и за это я по сей день ему благодарен, – хранил молчание и даже избегал на меня смотреть. Наконец он подошел к шаткой этажерке, на которой стояли мои учебники, раскрыл наугад первые попавшиеся – одного взгляда ему, полагаю, было достаточно, чтобы убедиться: я к ним не притрагивался, они даже не разрезаны.

– Твои конспекты! – потребовал он. Первыми произнесенными его словами был этот приказ. Дрожащей рукой я протянул ему тетради, прекрасно зная, что кроме записи самой первой лекции там ничего нет. Наметанным учительским взглядом он пробежал эти две страницы и, не выказав ни малейшего волнения, положил тетради на стол. После чего, пододвинув стул, все-таки сел и, подняв на меня серьезный, без тени укоризны взгляд, спросил:

– Ну, и что ты обо все этом думаешь? Как дальше-то быть?

Спокойный этот вопрос меня просто сразил. Внутренне я к чему угодно был готов: начини он меня распекал, я бы стал огрызаться, на проникновенные увещевания ответил бы дерзостями и издевкой. Но этот простой, деловитый вопрос всякую мою строптивость опровергал заранее: поставленный всерьез, он требовал столь же серьезного ответа, а его столь трудно дав-

шееся спокойствие заслуживало уважения и встречной внутренней сосредоточенности. Боюсь даже вспоминать, что именно я ответил, да и весь последующий наш разговор и сегодня еще не хочет ложиться передо мной на бумагу: бывают столь сильные душевные потрясения, нечто вроде внутреннего надрыва, которые в пересказе, вероятно, могут показаться сентиментальными, – точно так же и иные слова бывают истинными лишь однажды, когда произнесены с глазу на глаз и только в порыве внезапной откровенности. Это был наш единственный разговор по душам, разговор, когда я не боялся уронить себя в его глазах и сам, по доброй воле, доверил ему решать мою дальнейшую судьбу. Он, однако, вместо решения ограничился советом, порекомендовав мне уехать из Берлина и в следующем семестре продолжить обучение в каком-нибудь не столь крупном, провинциальном университете; он совершенно уверен, чуть ли не в утешение заверил он меня под конец, что отныне я со всею страстью и рвением буду нагонять упущенное. Его доверие все во мне перевернуло: в тот миг я с острым раскаянием ощутил всю несправедливость, с какой в отроческие свои годы относился к этому старому уже человеку, оградившему себя от окружающих броней холодной формальности. Я прикусил губы, лишь бы сдержать горячие слезы, готовые хлынуть из глаз. Очевидно, и он был растроган не меньше моего, потому что внезапно подал мне руку, заметно дрогнувшую при пожатии, и стремительно вышел. А я даже не решился его проводить, так и остался стоять посреди комнаты, ошеломленный, взбудораженный, и только растерянно отирал платком кровь с губ – до того неистово я в них впился, силясь побороть волнение.

Таково было первое потрясение, постигшее меня в мои девятнадцать лет, – и оно без громких слов, одним махом рассыпало карточный домик напускной мужественности, студенческой бравады, показного самодовольства, который я кичливо выстраивал все эти три берлинских месяца. Порыв раскаяния пробудил во мне волю, в душе я чувствовал решимость отказаться от всех мелких сиюминутных услаждений, меня разбирала охота испытать свои, доселе столь безрассудно расходовавшиеся силы на поприще наук, я жаждал строгости, самодисциплины, даже аскезы. Именно тогда я дал себе обет жертвенного служения учености, еще не подозревая, сколь опьяняющими взлетами вдохновения одарит меня мир духовных свершений, еще ведать не ведая, что и в этих вышних пределах неистовому уму всегда уготованы приключения, а иной раз и роковые невзгоды.

Скромный провинциальный городок, который я с отцовского согласия избрал себе для обучения в следующем семестре, был расположен в Средней Германии. Его громкая академическая слава никак не соответствовала той жалкой горстке убогих домишек, что окружали университетское здание. От вокзала, оставив покамест там свой багаж, я без малейших затруднений, лишь пару раз спросив дорогу, добрался до своей будущей альма-матер, да и там, внутри старинного, непрактично распластанного здания я сразу почувствовал, насколько теснее, уютнее здесь внутренний академический круг, нежели в суетном берлинском многолюдстве. Не прошло и двух часов, а я уже оформил свое зачисление и даже успел представиться большинству профессоров, вот только своего будущего научного руководителя, профессора английской филологии, я не застал, но мне сказали, что после обеда, часа в четыре, у него должен быть семинар.

Подстрекаемый нетерпением, не желая упустить ни часа, теперь столь же истово одержимый жаждой знаний, как прежде их небрежением, я – после беглого обхода городишки, погруженного, по сравнению с Берлином, поистине в наркотический сон, – ровно в четыре уже был на месте. Смотритель указал мне нужную дверь. Я постучал. Мне показалось, что кто-то мне ответил, и я вошел.

Но я ослышался. Никто не пригласил меня войти, а неясный возглас, который я за такое приглашение принял, очевидно, прозвучал из уст профессора и был частью его вдохновенной, напряженной, летящей речи, которую он, судя по всему, экспромтом, произносил в

окружении примерно двух десятков студентов. Смущенный своим непрошеным вторжением, я вознамерился было тихо ретироваться, но побоялся только привлечь к себе этим излишнее внимание, благо пока что никто из слушателей моего присутствия вообще не заметил. Так я и замер у двери и поневоле стал слушать.

Профессорский экспромт, судя по всему, возник сам собой то ли вследствие чьего-то сообщения, то ли по ходу дискуссии, – на это, по крайней мере, указывала необычная, явно случайная группировка, да и непринужденные позы как самого преподавателя, так и его учеников: он не вещал, восседая в высоком профессорском кресле за пультом, а горячо говорил, по-мальчишески присев на край стола и свесив ногу, а вокруг него сгрудились молодые люди, что свидетельствовало об интересе, застигшем их уже то ли на ходу, то ли на полуслове и постепенно заставившем замереть в самых неожиданных положениях. Похоже, до этого все они говорили наперебой, что-то обсуждая, как вдруг учитель, легко переместившись на стол, с этого возвышения, одной лишь силою слова, будто набросил на них лассо и буквально пригвоздил к месту.

Не прошло и двух минут, как уже и сам я, позабыв о сомнительной дозволенности своего присутствия, на себе ощутил всю магнетическую силу его речи; невольно, незаметно для себя я подошел ближе, чтобы яснее видеть необычные движения рук, обнимающие и подхватывающие эти вдохновенные фразы, а иной раз, чтобы властно подчеркнуть значимость особо важного места, резко взлетающие ввысь взмахом крыльев, чтобы потом плавным дирижерским мановением успокаивающе опуститься. Все быстрее, все нетерпеливей срывались с его губ слова, а сам он, словно окрыленный всадник на горячем скакуне, время от времени, как в стремени, даже привставал, лишь бы подстегнуть, еще ускорить этот неистовый галоп, этот стремительный, сквозь молниеносный промельк образов и картин, полет ненасытной мысли. Никогда прежде не случалось мне слышать речи столь воодушевленной, поистине захватывающей, – я впервые пережил то, что у латинян называлось *raptus* – когда человек возвышается, взлетает над самим собой: и не ради себя он говорил, и не ради слушателей, – исключительно волею и всполохами внутреннего огня исторгались слова из этих пламенных уст.

Никогда, повторяю, я не переживал такого: экстаз слова, страсть изреченной мысли как разгул стихии; и внезапность этой новизны неодолимым рывком повлекла меня к себе. Сам того не замечая, не чуя под собой ног, я, как сомнамбула, подчинился некоей силе, и сила эта притянула меня к узкому кругу слушателей, а потом и вдвинула в этот круг: не помню как, но я внезапно оказался чуть ли не в центре его, в каком-то полушаге от говорящего, в самой гуще слушателей, которые, впрочем, тоже стояли как замороженные, не замечая ни меня, ни вообще ничего на свете. Меня уносило стремниной этой речи, и я отдался ей, еще не ведая ее истоков, не понимая, с чего весь этот сыр-бор разгорелся; судя по всему, кто-то из студентов восторженно отозвался о Шекспире как об исключительном феномене, своего рода ярчайшей комете, а профессор в ответ теперь стремился показать, что это не так, что Шекспир был хоть и наиболее мощным, но отнюдь не единственным выразителем порывов и помыслов целого поколения, страстным голосом грандиозной, внезапно разбушевавшейся эпохи. Стремительными штрихами он обрисовал тот небывалый час Англии, тот единственный миг экстаза, какой в жизни каждого народа, как и в человеческой жизни, наступает непредсказуемо, вдруг соединяя все силы для неистового рывка в вечность. Вдруг оказалось, что шире стала земля, на ней объявился новый, только что открытый континент, тогда как древнейшая опора прежнего мира, папство, грозила вот-вот рухнуть: за морями, которые теперь, с тех пор как непобедимую армаду испанцев разметала и поглотила пучина, принадлежат им, англичанам, сразу открылись новые, головокружительные возможности, мир раздвинулся, стал необъятен – и, подобно ему, к такой же необъятности невольно устремляется душа – она тоже жаждет дойти до последних пределов и в добре, и во зле, рвется, по примеру конкистадоров, открывать и покорять новое, а значит, ей потребен новый медиум, новый язык. И в одночасье, тут как тут, появляются ора-

кулы этого языка, поэты, писатели – полсотни, сотня за какое-нибудь десятилетие, – и это не прежние придворные рифмоплеты, что сюсюкали о садах Аркадии и мусолили мифологические сюжетцы, нет, это ребята совсем другого пошиба, бунтари, им подавай театр, арену, где прежде только зверье травили на потеху да кровавые побоища устраивали напоказ, – именно здесь они обретают поприще, и горячий пар крови еще ощутим в их творениях, их драматургия сама по себе все еще тот же *circus maximus*<sup>3</sup>, где дикие бестии страстей человеческих сцепляются в свирепых, неукротимых схватках. Львиной отвагой дышит их ненасытный творческий порыв, каждый норовит перещеголять каждого и в дерзости, и в чрезмерности, для них в искусстве нет запретов – тут тебе и кровосмесительство, и злодейство, убийства и преступления на любой вкус, пылающая магма всего человеческого справляет здесь свою огнедышащую оргию; как прежде вырывались из своих клеток голодные звери, так теперь с диким ревом, неукротимо и грозно бушуют за деревянным ограждением арены опьяненные и пьянящие страсти. Один-единственный прорыв, ослепительный и мгновенный, как вспышка петарды, каких-нибудь пятьдесят лет длится это буйство крови, это извержение похоти, способное, кажется, закогтить, порвать в клочья и поглотить весь мир: отдельных голосов почти не слышно, отдельные фигуры едва различимы в этой вакханалии. Тут каждый тягается с каждым, всякий учится да и крадет у другого, каждый борется, жаждет превозмочь и превзойти, но все они, кого ни возьми, всего лишь гладиаторы одной арены, одного празднества духа, вырвавшиеся из цепей рабы, подстегиваемые и гонимые гением часа. Порывом этого ветра их выбрасывает на свет божий и из темных хижин бедняцких пригородов, и из дворцов: Бен Джонсон – внук каменщика, Марло – сапожничий сын, Мессинджер – камердинерский отпрыск, Филипп Сидней – тот из богачей, он ученый и вообще государственный деятель, – однако горячий вихрь времени всех их сбивает в одну стаю; любой из них сегодня может быть прославлен, а завтра, как Кид или Гейвуд, изнывать в нищете или вообще подохнуть с голоду, упав замертво прямо на Кинг-стрит, как Спенсер, – все сплошь отщепенцы, бунтари, буяны, распутники, похабники, комедианты, мошенники, но все – поэты, поэты, поэты! Шекспир лишь один из них, пусть и главный, «the very age and body of the time»<sup>4</sup>, да никому и недосуг выделять, отделять его от остальных, до того неистов этот смерч, столько несет он творений и страстей, смешивая, сталкивая, нагромождая одно на другое. И внезапно, одним махом, так же непостижимо, как возник, этот удивительный выброс человеческой энергии разом прекращается – занавес, конец представлению, Англия себя исчерпала, и снова на сотни лет туманная мгла упадет не только над Темзой, но и над духовным миром страны; неукротимым приступом одного поколения покорены были все вершины и все омуты страсти, преисполненная отваги душа горячо рвалась из груди – и вот уже изнемогшая от неистовств страна лежит в бессильном опустошении, всюду царит мелочное пуританство, оно закрывает театры, а вместе с ними глохнет, умолкает голос страстей, слово – теперь уже только божественное – берет Библия, воцаряясь там, где господствовало огнедышащее исповедальное слово человечности, где одно-единственное пламенное поколение прожило свой век и за себя, и за тысячи других людских судеб.

И тут вдруг огненный поток его речи обратился прямо на нас:

– Теперь вы понимаете, почему я строю свои лекции не в исторической последовательности и начинаю не с истоков, с Короля Артура и Чосера, а вместо этого, всем канонам вопреки, с елизаветинцев? Понимаете теперь, почему я требую в первую очередь знания этой эпохи, вживания в ее невероятно бурную жизнь? Ибо истинное филологическое знание невозможно без сопереживания, изучение сухой грамматики не откроет живого смысла, вот почему вам, молодым людям, намеревающимся познать страну и ее язык, первым делом следует раскрыть их для себя в пору высшего расцвета, в красе и силе молодости, во всей ее страстности. Вна-

<sup>3</sup> Большой цирк, арена в Древнем Риме (лат.).

<sup>4</sup> Шекспир У. Гамлет (III, 2) – из наставления Гамлета актерам, здесь букв. «плоть и кровь своего века» (англ.).

чале вам надо слышать язык из уст поэтов, тех, кто этот язык творит и совершенствует, вам непременно нужно прежде всего ощутить дыхание этой поэзии, горячее биение ее сердца в вашей груди, а уж потом мы примемся ее разбирать и анатомировать. Вот почему я начинаю с Олимпа, ибо Англия – это Елизавета, это Шекспир и шекспирианцы, все предыдущее – только подготовка, все позднейшее – лишь вялое наследование в тщетных попытках повторить этот отважный прорыв в бесконечность, тогда как здесь, – почувствуйте, почувствуйте это, вы же сами еще молодые люди – здесь перед нами сама животворная юность нашего мира. А всякое явление, как и всякого человека, до конца можно познать лишь в наивысшей форме, в горении, в пламени страсти. Ибо все духовное восходит из крови, всякая мысль рождается из страсти, а всякая страсть – из вдохновения; а посему сначала Шекспир и его современники, именно они сделают вас, молодых, по-настоящему молодыми! Сперва воодушевление – и лишь затем прилежание, сначала Он, Величайший, неистовый во всем, самое полное и прекрасное отражение нашего мира, сначала дух – а уж потом материя слова!

– А теперь – довольно на сегодня, всего доброго! – Описав в воздухе прощальную дугу, рука резко упала вниз, как бы обрубая фразу, а сам он тем временем уже спрыгнул со стола.

И тотчас сплоченное кольцо слушателей, как от удара, вмиг рассыпалось, застучали отодвигаемые столы и стулья, двадцать доселе безмолвно сомкнутых ртов разом загалдели наперебой, кто-то откашливался, кто-то громко переводил дух – только теперь стало очевидно, сколь непререкаема была магнетическая власть этого слова, сомкнувшая уста слушателей. Зато тем громче и горячее зазвучала теперь разноголосица в стенах тесной аудитории, кто-то сразу подошел к профессору поблагодарить или спросить о чем-то, другие, с покрасневшими от возбуждения лицами, уже обменивались впечатлениями, но ни один не остался безучастным, не затронутым этим упоительным электричеством, – и хотя контакт внезапно оборвался, искры и токи, казалось, еще блуждают, еще потрескивают в наэлектризованном воздухе.

Я же стоял ни жив ни мертв, будто громом пораженный. Таков уж я по натуре, что к восприятию без эмоций не способен, зато через них воспринимаю мгновенно и непосредственно, порывом сразу всех чувств; и вот, впервые в жизни, я встретил человека, учителя, который сумел захватить меня всецело, – я ощутил на себе неодолимую силу ума и обаяния, покориться которой мне казалось и долгом и наслаждением. Я взволнованно дышал, кровь стучала в висках, отдаваясь гулом и пульсацией по всему телу, и бешеный этот ритм будоражил, гнал меня куда-то. Наконец, уступив ему, я сдвинулся с места и медленно стал пробираться поближе – мне надо было увидеть лицо этого человека, ибо – вот ведь странность – пока он говорил, я вообще не разглядел его черт, настолько растворились они в его словах, настолько слились с его речью. Но и сейчас я поначалу лишь смутно, вполоборота, различал его профиль: в тусклом полусвете он стоял возле окна и беседовал со студентом, доверительно положив руку тому на плечо. И само это движение, явно мимолетное, скорей случайное, выдавало такую душевность и приязнь, какую я прежде ни у одного преподавателя даже помыслить не мог.

Между тем некоторые студенты на меня, незнакомца, уже обратили внимание; дабы не выглядеть долее непрошеным гостем, я подошел к профессору еще ближе, ожидая, когда тот окончит беседу. Лишь теперь мне представилась возможность разглядеть его как следует: передо мной была голова римлянина, где в первую очередь бросался в глаза гордый, мерцающий мраморной белизной лоб в обрамлении пышных седин, волнами убегающих от висков к затылку; однако это дерзновенное, одухотворенное думой чело чуть ниже глубоких, затененных глазниц сменялось мягкими, почти женственными чертами округлого, нежно очерченного подбородка и чутких, нервных, то тронутых легкой улыбкою, то беспокойно подрагивающих губ. Лицо это тревожило взгляд своими контрастами: прекрасную и твердую мужественность верхней части оттеняла чуть заметная блеклость щек и трепетная живость рта; поначалу запоминаясь силой и даже властью, оно при ближайшем рассмотрении смущало каким-то мучительным внутренним раздором. Нечто похожее ощущалось и во всей повадке: левая рука

вроде бы покоится на столе, но это только кажется – приглядевшись, можно заметить, как все в ней невольно чуть трепещет и подрагивает, а тонкие, для мужчины, пожалуй, почти нежные пальцы нетерпеливо выводят на голой столешнице незримые фигуры, в то время как сосредоточенные глаза из-под тяжелых век с несомненным вниманием устремлены на собеседника. То ли он вообще такой нервный, то ли недавнее возбуждение еще не улеглось до конца – как бы там ни было, но лихорадочное беспокойство этой руки никак не вяжется со сдержанной вдумчивостью этого взгляда, хоть и усталого, но всецело поглощенного разговором со студентом.

Наконец дошла очередь и до меня, я шагнул вперед, представился, назвал цель своего визита, и тотчас искры живейшего любопытства сверкнули в этих темных, чуть отливающих синевой зрачках. Две-три долгие, полные вопросительного ожидания секунды взгляд его пристально ощупывал все мое лицо, от волос до подбородка; под лучами столь неожиданного, пусть и доброжелательного, но почти инквизиторского внимания я, должно быть, покраснел от смущения, ибо он с мимолетной улыбкой поторопился положить конец моему замешательству.

– Значит, хотите записаться ко мне? Тогда нам нужно поговорить поподробнее. Извините, что не смогу побеседовать с вами прямо сейчас, у меня еще кое-какие дела. Пожалуй, вы можете подождать меня внизу у выхода и проводить до дома. – С этими словами он протянул мне руку, изящную, тонкую руку, которая легла на мою ладонь не тяжелее перчатки, и с любезным вниманием обратился уже к следующему студенту.

Десять минут я с бьющимся сердцем ожидал его у ворот. Что ответить, если он спросит о моих предыдущих занятиях, как признаться, что поэтическая словесность никогда не занимала меня ни в учебные часы, ни в часы досуга? А если я этим безнадежно уроню себя в его глазах и он, чего доброго, попросту изгонит, вернее, заранее исключит меня из пламенного круга своих учеников, в магическом притяжении которого я побывал сегодня? Но едва он появился, как только стремительно, легкой походкой и с доброй улыбкой приблизился, одно его присутствие мгновенно развеяло всю мою скованность, и я, без всякого понуждения с его стороны, сам, не в силах что-либо от него скрыть, чистосердечно признался, что первый семестр пропал для меня впустую – я его, можно считать, просто прогулял. И тотчас снова ощутил на себе его теплый, небезразличный взгляд.

– Музыки тоже без пауз не бывает, – ободряюще улыбнулся он и, вероятно, не желая смущать меня моим невежеством, перевел разговор на сугубо личные обстоятельства, расспрашивая, из каких я краев и подыскал ли уже, где поселиться. А услышав, что жилья я еще не нашел, любезно предложил свою помощь, порекомендовав для начала справиться в доме, где сам он живет: там одна милая, правда, туговатая на ухо старушка сдает очень уютную комнатку, которой все прежние его ученики были вполне довольны. А уж об остальном он позаботится сам: если я и вправду останусь верен своему намерению относиться к занятиям со всей серьезностью, он посчитает для себя приятным долгом всячески мне содействовать. Когда мы дошли до его дома, профессор снова протянул мне руку и пригласил зайти к нему на завтра вечером, чтобы мы совместно наметили план занятий. Моя признательность этому человеку за совершенно не заслуженную мною доброту была столь велика, что я, от избытка почтения едва коснувшись его ладони, в смущении лишь сдернул шляпу, даже забыв вымолвить хоть слово благодарности.

Разумеется, на следующее утро я снял комнату в том же доме. Я бы снял ее, даже если бы она вовсе меня не устроила, единственно из одной только сердечной признательности и наивного стремления соседствовать, ощущать пространственную близость к этому чудодею-учителю, сумевшему за один лишь час дать мне больше, нежели кто-либо прежде. Но комнатка и вправду оказалась прелестная: расположенная в мансарде прямо над квартирой профессора, чуть темноватая из-за выступающего фронтона, она, однако, открывала из окна восхитительный вид – сперва на крыши соседних домов и церковную колокольню, а дальше на изумрудную зелень лугов и светлые облака в бездонном небе, столь напоминавшем мне просторные небеса

моей родины. Старушка-хозяйка, как выяснилось, глухая напрочь, всех своих квартирантов окружала трогательной, поистине материнской заботой; в считанные минуты мы с ней обо всем сговорились, а уже часом позже ветхая деревянная лестница жалобно скрипела под тяжестью моего чемодана.

В тот вечер я никуда больше не выходил, и поесть забыл, и даже про курево не вспомнил. Первое, что я вытащил из чемодана, был случайно прихваченный с собой томик Шекспира – меня разбирало нетерпение снова (впервые за много лет) его раскрыть; от услышанного накануне во мне разгорелось страстное любопытство, и я углубился в чтение, воспринимая поэтическое слово как никогда прежде. Не знаю, объяснимо ли вообще подобное преображение. Но мир, запечатленный в письменах, раскрывался передо мною разом, слова сами устремлялись мне навстречу, будто столетиями ждали свидания со мной; строчки стихов накатывали огненными волнами, захватывая меня, проникая прямо в кровь, полня все существо мое чувством странной свободы, какая захватывает дух лишь в полетах во сне. Меня била дрожь, меня бросало то в жар, то в холод, кровь стучала в висках, со мною отродясь ничего подобного не бывало, – и все это лишь вследствие страстного монолога, который я услышал вчера из уст профессора. И монолог этот, похоже, все еще жил во мне пьянящим одухотворением, я же слышал, как голос мой, вслух повторяя то одну, то другую строчку, невольно подражает его голосу, и фразы неслись в том же стремительном ритме, и рукам моим хотелось так же обнимать пространство, – силою неисповедимой магии за какой-нибудь час в глухой стене между мной и духовным миром был пробит пролом, и я, по натуре человек страстный, открыл для себя новую страсть, каковой храню верность и поныне: страсть упоения полнотой земного мира, воплощенного вдохновенным словом. В тот вечер я случайно раскрыл томик на «Кориолане», и на меня будто озарение нашло, когда я в самом себе начал обнаруживать все черты и свойства этого, едва ли не самого странного из римлян: гордость, высокомерие, вспыльчивость, иронию, заносчивую язвительность, насмешливость, – короче, все эссенции, весь свинец и все золото чувств человеческих. Какое небывалое наслаждение – магическим прозрением постигать все это сразу, мгновенно! Я читал без усталости и без передышки, пока не началась резь в глазах, я взглянул на часы – половина четвертого! Почти напуганный этой новой напастью, что на целых шесть часов возбудила все мои чувства, завладев ими почти до беспамятства, я погасил свет. Но еще долго перед глазами плыли и мелькали картины, образы, слова, и я даже во сне все еще ощущал в себе нетерпеливое ожидание следующего дня, который сулил еще шире, еще щедрее распахнуть передо мной столь волшебным образом раскрывшийся мир, дабы я окончательно с ним сроднился.

Но наутро меня ждало разочарование. Сгорая от нетерпения, я одним из первых пришел в аудиторию, где мой учитель (отныне я хочу называть его так) должен был читать лекцию по английской фонетике. Но когда он вошел, я даже испугался: неужели это тот же человек, что и вчера, или это только мое взбудораженное воображение сохранило его в памяти пламенным Кориоланом, чья геройская отвага и молниеносное слово разят и покоряют все и вся? Этот, сегодняшний, был просто понурый старик, немощный, с вялой, шаркающей походкой. Лицо его, вчера озаренное вдохновением, теперь будто погасили – сидя в первом ряду, я хорошо различал тусклую, почти болезненную утомленность этих черт, усугубляемую бороздами морщин, поперечинами складок и сизыми тенями на дряблых, впалых щеках. Под сонными, тяжелыми веками глаз почти не видно, бескровные, тонкие губы что-то бормочут, не в силах придать голосу вчерашний металл. Куда подевалась вся веселая живость, весь азарт упоения собственным вдохновляющим словом? Я даже голоса не узнавал: как бы иссушенный своей сугубо теоретической темой, он бубнил, монотонно и бесстрастно верша усталый, размеренный шаг по плотному, скрипучему песку.

Меня охватила тревога. Это же совсем не тот человек, которого я так жаждал лицезреть сегодня с первой минуты пробуждения: куда сгинул весь его облик, еще вчера манивший меня путеводным светом? А здесь передо мной был зануда-профессор, крутящий шарманку своих лекций; с возрастающим беспокойством я вслушивался в его слова, не вернется ли хотя бы намеком та вчерашняя трепетная взволнованность, что, подобно руке музыканта, так умело трогала струны моей души, пробуждая в ней возвышенные страсти. И я все тревожнее вскидывал взор, с неизменным разочарованием вглядываясь в совершенно чужое лицо этого человека, несомненно, то же, что и вчера, но будто бы опустошенное, не знающее вдохновения, изможденное, тусклое, почти безжизненное лицо – скорее пергаментная маска старца. Да как возможно такое? В одночасье, за одну ночь, вчерашнее юношество превратить в такое вот старчество? Или и вправду бывают такие внезапные взлеты духа, когда пламенное слово преображает и весь облик человека, делая его на десятилетия моложе?

Меня мучил этот вопрос. Я сторал от жажды как можно больше узнать об этом загадочном, двуликом человеке. Вот почему, едва он, с потухшим взором сойдя с кафедры и не глядя на нас, вышел из аудитории, я, следуя внезапному наитию, поспешил в библиотеку и попросил выдать мне его труды. Может, он сегодня просто устал, может, его донимали недомогания, но здесь-то, в непреложности письменного слова, в запечатленных творениях ума, должна найтись разгадка, ключ к пониманию этой столь заинтриговавшей меня личности. Служитель принес книги: к моему изумлению, совсем немного. За двадцать лет этот совсем не молодой уже человек опубликовал жалкую стопку брошюр, несколько предисловий, докладов, в порядке дискуссии небольшой трактат о подлинности шекспировского «Перикла», опыт сопоставления Гёльдерлина и Шелли (это, правда, в ту пору, когда ни тот, ни другой, каждый в своем отечестве, еще не были признаны гениями), не считая прочей, совсем уж мелкой и рутинной филологической всячины. Правда, в каждой публикации анонсировался готовящийся к изданию двухтомник; «Театр «Глобус»», его история, его образы, его авторы», однако хотя первое уведомление было напечатано лет двадцать назад, библиотекарь в ответ на мой повторный запрос сообщил, что издание так и не вышло. Не без робости, хотя уже с недобрым предчувствием, перелистывал я вышеозначенные труды, в тайной надежде расслышать вчерашний, столь воодушевивший меня голос, вновь окунуться в бурный поток его вдохновенной речи. Но нет, ход этих писаний был строг и неумолимо размерен, нигде не дрогнула, нигде не всколыхнулась волна опьяняющего экстаза. «Как жаль!» – простонало что-то у меня в душе. Я проклинал, я готов был поколотить себя, настолько все во мне клокотало от гнева и обиды за свое легковое, столь поспешное и опрометчивое преклонение.

Однако после обеда, на семинаре, я снова его узнал. На сей раз он не стал говорить первым, а, по образцу английских колледжей, сначала устроил дискуссию: десятка два студентов были разбиты на две группы, одной надлежало защищать тезис, другой – опровергать его. Темой опять послужил излюбленный Шекспир, а именно: можно ли считать Троила и Крессиду (любимая вещь профессора) фигурами пародическими, а само произведение понимать как сатирическое действо или же как трагедию с обличительно-ироническим подтекстом. Уже вскоре направляемое его искусной рукой противопоставление мнений породило электрические разряды: аргументы сшибались, как бильярдные шары, колкие замечания и даже выкрики обострили полемику донельзя, азарт молодости, казалось, иной раз вот-вот перерастет чуть ли не в потасовку. Лишь в такие мгновения, когда все искрило, он немедленно встревал, остужая слишком горячие головы и ловко возвращая дискуссию к ее сути, но вместе с тем исподтишка как бы подталкивая ее ввысь, к выходам во вневременной контекст, к извечным вопросам бытия – в такие мгновения, стоя между двух диалектических огней, он был всецело в своей стихии, то подстрекая, то сдерживая, сам разгоряченный этой петушиной схваткой мнений, он, умелый укротитель юношеского энтузиазма, сам же купался в его бурных волнах. Прислонившись к столу, скрестив руки на груди, он переводил глаза то на одного, то на другого



спорщика, то поощрительно улыбаясь, то едва заметным движением побуждая к возражению, и глаза его, как и накануне, азартно поблескивали: я чувствовал, ему стоит немалых усилий не вмешаться самому и первым же властным словом не заставить всех почтительно замереть. Но он крепился до последнего, я видел это по судорожному напряжению его рук, которые все сильнее, обручами, стискивали грудь, я угадывал это по нервическому подрагиванию уголков губ, с превеликим трудом сдерживающих готовое вылететь слово. Как вдруг эта плотина прорвалась, и он, как пловец в стремнину, кинулся в самую сечу дискуссии, одним махом высвобожденной руки, как дирижерской палочки, остановив гвалт и сумятицу: все тотчас умолкли, а он принялся подытоживать высказанные аргументы. И пока он говорил, я видел, как возвращается, проступая сквозь усталые черты, вчерашнее, одухотворенное, молодое лицо: выразительная нервная мимика разгладила складки морщин, в посадке головы, в горделивом повороте шеи, да и во всей осанке выказалась вдруг дерзновенная уверенность, и, словно скинув с себя оковы принужденной сдержанности, он ринулся в бурную стремнину своего монолога. Он импровизировал, и импровизация воодушевляла его все сильнее: тут-то я и начал подозревать, почти догадываться, что ему, человеку скорее трезвому и рассудительному, и наедине с собой, за письменным столом в тиши своего кабинета, и за скучной лекторской поденщиной недостает какого-то запала, который он обретает здесь, среди нас, в атмосфере головокружительной увлеченности, – этот запал производил в его душе некий взрыв, разрушал внутреннюю преграду; ему нужен был – о, как я это чувствовал! – наш энтузиазм, чтобы пробудить в себе ответный порыв, он жаждал нашей открытости, чтобы самому раскрыться в упоительном расточительстве самоотдачи, ему требовалась наша молодость – чтобы омолодиться самому. Как цимбалист все сильнее опьяняется неистовым ритмом ударов по струнам, так и его речь становилась все живее, все пламенней и красочней в каждом вдохновенно найденном слове, и чем безмолвнее сгущалось ошеломленное наше молчание (ощутимое в тесных стенах аудитории почти физически), тем выше, тем победнее, в почти гимническом восторге возносился к вершинам его монолог. И все мы в эти минуты были всецело в его власти, захваченные, увлеченные, окрыленные этим полетом.

И снова, когда он внезапно закончил свой монолог цитатой из гетевской речи «Ко дню Шекспира», с трудом сдерживаемое волнение слушателей прорвалось со всею силой. И снова, как вчера, он в изнеможении прислонился к столу, с побледневшим лицом, в котором мелкими пробежками все еще жила, затихая, потаенная игра нервов, а глаза мерцали странной и почти страшной истомой утоленного сладострастия женщины, только что обмиравшей в неистовых объятиях. Я побоялся заговорить с ним сейчас, однако его взгляд случайно меня заметил. И уловив, вероятно, восторженную благодарность в моих глазах, он дружески улыбнулся и, положив руку мне на плечо, напомнил об условленной встрече сегодня вечером у него дома.

Итак, ровно в семь я был у него; с каким же трепетом я, юнец, впервые переступил этот порог! Нет страсти более сильной, чем юношеское обожание, нет чувства более пугливого, более женственного, нежели эта оробелая, застенчивая стыдливость. Меня проводили в его кабинет, сумрачную комнату, в которой я в первое мгновение ничего не разглядел, кроме множества пестрых переплетов за стеклами книжных стеллажей. Над письменным столом висела репродукция «Афинской школы» Рафаэля, вещи, которую (как я позднее выяснил) он особенно любил, ибо все виды и способы обучения, все проявления духа воплощены здесь в гармонии символического единства. Я эту работу видел впервые, и в запоминающемся, своем нравном лице Сократа мне невольно почудилось некоторое сходство с челою моего учителя. Позади что-то мерцало мраморной белизной, это оказался Ганимед из Лувра, миниатюрный, но очень красивый бюст, а рядом Святой Себастьян работы старого немецкого мастера, это соседство умиротворенной и трагической красоты вряд ли было случайным. С замиранием сердца, затаив дыхание, безмолвно и недвижно, подобно всем этим замершим образам прекрасного, я ждал; в этих предметах передо мной символически раскрывался новый мир духов-

ной красоты, дотоле мне не ведомый и пока различимый лишь смутно, однако уже чаемый, уже радостно воспринимаемый мной как нечто родное, братское. Впрочем, времени на созерцание было в обрез, ибо тот, кого я ожидал, уже вошел, уже приблизился; и снова меня окутало мягкое, как скрытый под тлением огонь, блаженное тепло его взгляда, от которого, к собственному моему изумлению, будто оттаивая, мгновенно раскрывались все самые потаенные мои помыслы. Мгновение спустя я уже говорил с ним совершенно непринужденно, как с давним другом, и когда он спросил о моем берлинском обучении, у меня невольно вырвалось – я сам в ту же секунду испугался – признание об отцовском визите, и я поведал ему, в сущности, совершенно не знакомому еще человеку, о данном себе обете со всею серьезностью посвятить себя научным занятиям. Он смотрел на меня, явно тронутый моим рассказом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.